

ОСН

III-66

Р33671.

В. ШКЛОВСКИЙ

ВСТРЕЧИ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 1944



В. Ш К Л О В С К И Й

ВСТРЕЧИ



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ
М О С К В А 1944

Посвящение — письмо на восток, в письме говорится о дорогах и пространствах

Меж воспоминаьем и надеждой —
Сей памятью о будущем...

Батюшков

Я видел, как уходили на восток вагоны. Ехали поезда, наполненные станками, сверху перекрытыми мебелью. Немецкие самолеты преследовали колонны, надо было маскировать.

Пришлось видеть советские станки в пустырях, похожих на берег необитаемого острова.

В Средней Азии, в Сибири новые заводы. Прошло великое переселение машин.

Страна перестроилась. Такое простое слово. Но мы знаем, как трудно перестроить под огнем роту. Перестроить страну во время войны, передвинуть ее промышленное вооружение — считалось невозможным.

Новые заводы в мохнатых горах Урала. На высоко поднятых степях Казахстана заводы.

Трудно даже разумом связать те составы, — одни из вагонов-ресторанов только, другие — из подмосковных вагонов-электричек, странно

прицепленных к паровозам. Трудно связать воображением и памятью эшелоны отступления с новым, великим освоением страны.

Я пишу, идет вторая военная зима. Еще не выпал снег на Москву, но утром крыши седы и седа трава. Седина разлуки, седина мороза.

Разлуки и потери, и короткие встречи, и дальние дороги... Я не подобрал еще глагола для этого предложения.

Это книга о встречах, о советской культуре. О советской культуре и войне. Она отрывочна.

История произносит большую фразу, я записываю эту фразу, как машинистка под диктовку, и только сейчас узнаю, как построена фраза, и понимаю вес собственных имен, и начинаю догадываться, как завершится мысль.

Мне хочется говорить с читателем, хотя я еще ничего не могу договорить. И вот я пишу рассказы о разлуках, о потерях, встречах.

Я пишу их для тебя, синеглазая, пепельно-волосая, сейчас седеющая. Ты за крутым боком земли, за Уральским лесистым хребтом.

Москва цела, она освещена, но неяркие фонари стоят пунктиром огней, без ореолов, и только вспышки проводов освещают улицу сразу целиком, как будто подумал троллейбус или трамвай.

Вспомнил или заглянул вперед.

Я хожу встречаться с книгами, они стоят у меня в комнате, с которой я разлучен ранним холодом, а ты — тысячами километров.

Ноябрь 1942 г.

ВСТРЕЧИ С СУВОРОВЫМ В КНИГАХ

Я пишу для товарищей на фронтах. Пишу друзьям на север и на юг.

Берег Пушкина.

На берегу Черного моря, которое в старину уже называли русским морем, там, где сейчас бои, жил я когда-то.

Блистательное, оточенное солнцем море подымалось круто стеной и увенчивалось небом.

Под карниз балкона подлеплены гнезда.

Туда с разлету ныряли, не тормозя, ласточки.

Оттуда вылетали птенцы и раскрывали крылья доотказу, как будто они хотели расстричь воздух, и падали в звонкое море и узнавали, что умеют летать. Они летали косо и к небокраю, такому красивому, что, глядя на него, хотелось жить вечно.

Сейчас там, в Крыму, бои.

Были бои на Кавказе Лермонтова, Важа Пшавала и Маяковского. Бои в степях, где сражался князь Игорь и ездил с ним конь о конь певец.

Были на гоголевской Украине, в тургеневских местах Орловщины, в Тульщине Толстого, в Псковщине Пушкина. Бои у Ленинграда — города Блока и Маяковского.

Кричат не очень громко тюлени, как будто басы пробуют голоса в пустой церкви. Утро. Голос хриповат.

Море шатается под туманом, как под крышкой кастрюли. Берег из камня. На эти камни когда-нибудь навалят груды оружия. Эти камни, друг, будут памятниками. Такие памятники ставили у вод шотландцы. Об этом рассказывает недостоверный Оссиан, сын героя Фингала, в книге, которую, достоверно знаем, любил Суворов. Эта книга осталась, хотя моя библиотека очень прополота.

Скоро вечер, друг. Из-за красного дома внизу поспешно созревает серебряный привязной аэростат. Смотрю с балкона. Москва прорастает серебряными цветами. С крутого берега дома вижу, как они уходят в небо, темнея. Движения подъема как будто все медленней. Луна над Москвой.

Сегодня еще не помаргивает небо. Как сухая трава, звенят в городе тросы аэростатов.

В комнате, кажется мне, растут, изменяясь, листы книг на грядках полок.

Так весной трава в лесу шевелит листья, вырастая.

За квадратами окон — Москва, проросшая тросами. Все изменилось, друг.

Все изменилось, все растет.

Озабоченными стали дети, по-иному оделись подростки, руки женщин заглубели.

Изменились комнаты, вещи, еда.

Изменились сроки работы, изменилась память о прошлом, изменился способ надеяться, надежды сейчас выделывают из твердых металлов,

надежда сейчас создается в горячих цехах и обрабатывается ребятами с голубыми внимательными глазами.

Там, за портьерой, луна над Москвой. Посмотрим, друг, как выглядят на старом столе, за которым ты так часто сидел передо мной, старые книги.

Но начнем с того, что все знают.

Ходит по экранам, переливаясь точками потемневшего серебра прожектора киноаппарата, „Леди Гамильтон“, проездом в Россию. На экране рассказывается, как любила она капитана, а война отняла его, сделала одноглазым адмиралом.

Война вводила Нельсона от любимой. Англичане пересматривают свою историю и прощают леди за то, что она не была женой Нельсона, и за то, что Гамильтон умерла нищей.

Они жалеют ее. Она помогает им показать войну, горящие и тонущие корабли.

Лента снята в защиту частной жизни.

Под радугой боя вижу Суворова. Легкий, низкорослый, он построен, как изречение, которое запомнили века.

Он строил себя, как строят корабль. Он строил себя для войны.

Суворову писал Нельсон.

Разговор шел о славе.

Нельсон считал себя похожим на Суворова. Он написал Суворову из Палермо 22 ноября 1799 года:

„Нынешний день соделал меня самым гордым человеком в Европе: некто, видевший вас в продолжение нескольких лет, сказал мне,

что нет двух человек, которые бы наружностью своею и манерами так походили друг на друга, как мы. Мы непременно друг другу сродни, и я вас убедительно прошу никогда не лишать меня дорогого наименования любящего вас брата и искреннего друга.

Бронте-Нельсон“.

Суворов отвечал в январе 1800 года из Праги, перейдя Альпы:

„... Глядя на Ваш портрет, я действительно нашел между нами некоторое сходство... Это для меня новое отличие, которое мне очень приятно, но мне еще приятнее знать, что я характером похожу на Вас...“

Но быть похожим на Суворова значило много. Суворов писал о себе в третьем лице — он Суворов. Суворов ощущал себя как героя. Свою воинскую службу — как создание героического образа. И вот приписка Суворова в письме к Нельсону:

„Я думал, что Вы отправились из Мальты в Египет... Палермо не остров Цитера... Впрочем, знаменитый брат, чего не отдадите Вы в мире за радугу Абукирской битвы. С новым годом, с новым веком.

Кн. А. Ит.“

На острове Цитера герои были задержаны красстою женщины. Леди Гамильтон задержала Нельсона в Палермо. Суворов вызывал к новому бою своего брата по оружию, вызывал славой.

Быть братом Суворова значило быть героем. Костровский перевод книги „Оссиан сын фингалов“ посвящен Суворову.

„Оссиан“ — книга любопытная. Она рассказывает о борьбе кельтов с норманнами и о других войнах. Она веками создавалась, потом редактировалась Макферсоном, и все слилось в результате в одну идею — защита родины.

Макферсон сильно переделал бардов и сделал эпос печальным. Мы знаем живых акынов, ашугов и сказителей нашей страны. Они веселей, озорней и еще ближе к Суворову, чем те певцы, о которых он мог узнать из книг.

Но книга эта у порога нового времени, когда народы осознавали себя как нации. Костров в предисловии к своему переводу пишет о бардах:

„Они составили в уме своем понятие о совершенном Герое... Вожди не преминули мечтательного сего Героя принять себе за образец. Тщательные усилия, чтобы подражать ему совершеннее, возраждали в их сердцах все Геройские чувства, какие сретаем мы в стихотворстве отдаленных сих времен“.

Герои для Суворова — образец. Суворов жил на народе или, как сказали бы тогда, для всенародства.

Суворов построил себя, как строят бои, построил себя с трудом, с жертвами. Он пример того, каким должен быть командир и сколько знать должен командир для того, чтобы стать простым и доходчивым для народа.

Греческие и римские историки вводили в свои книги речи вождей. Это авторские комментарии; такие речи не произносились.

Историки древности правдивы, но не документальны, у них не было даже задачи воспроизвести документ.

Суворов же говорил со своими войсками. Традиция этого разговора высокая, античная и книжная.

Но Суворов жил в селе Кончанском. Если взять карту Фоминцына в книге „Скоморохи на Руси“, то мы увидим, что Кончанское — скоморошье село.

Суворов был шутлив, потому что правда, которую он знал про солдата, нуждалась в то время в пестрой одежде. Скоморохов на Руси звали веселыми людьми, но по сборнику Кирши Данилова мы видим, что скоморох не только шутник, он народный поэт, хранитель и собиратель эпоса.

Из мемуаров Болотова мы знаем, что сказочник-гренадер в шатре русского командующего перед боем рассказывал сказки.

Мы знаем, что скоморохи жили в имении князя Пожарского и что он их отстаивал от ярыжек. В русских песенниках, в частности, в чулковском песеннике, мы видим, как перешли скоморошьи песни в русские солдатские песни.

Оттуда, вероятно, любимый переход от заунывного тона к мажорному в русской воинской песне.

А Суворов любил не только Оссиана, но и „Пригожую повариху“ Чулкова, первую русскую бытовую повесть.

Суворов связан с мировой литературой. Он сам писал вещи о славе и о справедливости. Но краткость, умение создавать пословицу

Суворов взял из фольклора, и именно из его скоморошьей струи.

Солдат — обычный герой русской сказки, бытовой и волшебной. Солдат в нашей сказке удачник, устроитель жизни.

Солдат русской сказки меньше всего похож на Платона Каратаева.

Собственные стихи Суворова надо посмотреть.

Они не похожи на стихи его современников поэтов, но они похожи на поэзию, их смысл движется не по строкам, размер определяется интонацией. Русский стих хорошо был понят Суворовым, и поэтически он был не сзади, а впереди своего времени.

Таким в веках стоит Суворов в Ленинграде у Марсова поля. На нем шлем, в руках его щит.

Сам герой выглядел не так и любил сражаться, не надев мундира. Но Александра Великого он знал и помнил, меряясь с ним именем.

Он помнил Ганнибала.

Больше всего помнил Суворов будущее.

Он говорил, что воин должен жить в непрестанной мечте. Он советовал читать графа де-Сакса.

Граф де-Сакс — это принц Мориц Саксонский — человек, изгнанный из Германии, человек, во Франции создавший новую науку — науку о войне. Книга Морица называлась „Мечтания“, она говорила о будущей войне.

Суворов по способу боя — человек будущего. Он — осуществление мечтаний.

Павел для него — человек, заснувший в

рыцарском замке, человек, изучающий уставы, изъеденные крысами.

Суворов жил для нас, так для нас он составил после многих раздумий самое простое надгробье на своей могиле из простого упоминания имени.

К этому камню сейчас в Ленинграде приходят воины.

Памятник Суворова стоит посреди Ленинграда, на нем он изображен героем в шлеме.

Он похож на того человека, сходством с которым гордился Нельсон, на поклонника Оссиана и тезку Александра Македонского.

За бронзовым Суворовым—крутой Троицкий мост и Нева и Петропавловская крепость.

Перед ним Марсово поле, на котором веками проходили парады, катились пушки, стояли русские строи. Когда я был молодым—учились на Марсовом поле пехотинцы, а рядом учились мотоциклисты. Был случай—стоял строй Преображенского полка и была команда «смирно». Мотоциклист в это время ошибся и с разгону ударил в строй. Тяжелая машина выбила и смяла двоих, а строй не покачнулся.

Это была русская армия, русский строй, Пушкиным описанный.

Войну понимал Пушкин.

В юности Пушкин читал Оссиана и даже подражал ему.

Он рассказал о том, как Тоскар по приказанию Фингала поставил на берегах Крона памятник победы. Памятник создан из камня со дна реки.

Вещай, сын шумного потока,
О храбрых поздним временам.

Он говорит о кагульском чугуне, о памятнике, поставленном среди царскосельского пруда, как читатель Оссиана.

Он видит: окружен волнами
Над твердой мшистою скалой,
Вознесся памятник. Ширясь крылами,
Над ним сидит орел молодой.
И цепи тяжкие, и стрелы громовые
Вкруг грозного столпа трекратно обвились.
Кругом подножия, шума, валы седые
В блестящей пене улеглись.
О, громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали,
Их смелым подвигам, страшась, дивился мир,
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громкозвучных лир.

(„Воспоминания в Царском Селе“, 1814 г.)

Слава восемнадцатого века кажется мне шумящей перьями крыл... Она идет легкой поступью Суворова... Радуга боя над ней.

Пушкин возрос в грозе двенадцатого года.

В те дни русские поля были покрыты трофеями. В Смоленской губернии в деревенских банях пар поддавали, плеща водой на груды раскаленных ядер.

Ядра в деревне стали обычной камней.

Страна была наполнена славой. Оды осуществлялись. В честь славы стоят трофеи, украшенные оружием. Ей посвящена стрелка биржи у нас в Ленинграде, памятники и решетки.

Новая слава без шлема и щита.

Для любви и славы завоевал страну Пушкин.
Любовь ушла с острова Цитера.

Пушкин спорил в своей славе с Александром.
Это хорошо понял Максим Горький. Пушкин считал себя выразителем идей своего народа, он боролся за свое пророческое слово.

Маяковский хотел назвать свою книгу „Облако в штанах“ — „Тринадцатый апостол“.

Поэту надо быть гордым.

Гордым и народным.

Если бы Суворов пришел к солдату без славы, без военной науки, если бы он был просто прост, он бы не был Суворовым.

Он должен был притти старшим, начальником.

Солдатство великого полководца рифмуется хорошо тогда, когда оно приводит к солдату великого полководца для того, чтобы объяснить маневр, а не для панибратства.

Когда-то давно, до войны, Константин Симонов писал поэму о Суворове. Суворов в Альпах, он стар, его ведут, поддерживая.

Старость дала бессонницу. Ночью на привале видит он часы. Такие были у его отца. Часы играли, потом выходили овечки, за овечками — пастушка. Суворову семьдесят лет. Он видит такие же часы.

Все было так, как он и ждал, —

И луг, и замок, и овечки,

Но замок сильно полинял

И три овечки постарели,

И на условленный сигнал

Охрипшей старенькой свирели

Никто не вышел на балкон.

.

Часы стояли опустело,

И лишь пружина все гнала

Вперед их старческое тело.

Суворов состарился иначе. Пружина славы гнала его, и свирель не охрипла.

Реальное изображение человека — это изображение его в главном деле.

Мы знаем о Суворове времен альпийского похода. Вот отрывок из английского письма, посланного из Линдау 21 октября 1799 года. В это время Суворов еще находился в трудном положении.

„Показался Суворов, человек небольшого роста, сухой и уже состарившийся, с лицом, покрытым морщинами, с зажмуренными почти глазами. Он говорил, что они приметно слабеют у него; когда же открывал их, тогда виден был блистающий огонь гения“.

Дальше идет запись слов Суворова. Он рассказывал о славном Оссиане, сравнивал его с Гомером и продолжал: „Римляне говорили, что надо публично хвалить себя для того, что это производит поревнование в слушающих“.

Говорил о славе: „Я, как Цезарь, не делаю никогда планов частных; гляжу на предметы только в целом; вихрь случая всегда переменяет наши заранее обдуманые планы“.

Обед кончился.

„Суворов ел и пил более всякого из нас..“

Распорядок дня Суворова этих времен мы знаем точно. Он ночью спал не много, но спал еще после обеда.

Часы изломанные и полинялые?

Это неверная полуправда.

Пушкин учил нас, как надо говорить о гении. Он писал в 1825 году из Михайловского:

„...Оставь любопытство толпы и будь заодно с Гением...“

Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции“.

Толпою называл Пушкин светское общество, народ он уважал, к народу обращался.

О поэте надо писать так, как Цезарь учил воевать: видя главное.

Про поэта надо писать, как про творца.

Маяковский начал свою автобиографию словами:

„Я поэт, тем и интересен“.

Завет Пушкина не исполнили, поставив пьесу Булгакова в Художественном театре.

Здесь дали квартиру Пушкина и приблизили к нам роман Дантеса.

Пушкина на сцене нет.

Не скажу: „Слава богу, что нет“.

Есть его дождь, его враг, молодой и красивый, по простым шашечным законам театра привлекающий какое-то сочувствие.

Обдуманное дело Дантеса давно уже раскрыто в работах советских ученых. Надо было посмотреть работы проф. Казанского и понять, что Пушкин умирал, вырываясь на свободу, делая вызов царю перед лицом дипломатии того времени.

Анонимка, полученная Пушкиным, связывала Натали не с Дантесом, а с Николаем.

И Дантес не просто красавец. Дантес враг любви поэта.

Путь к Беатриче шел для Данте через „Ад“ и „Чистилище“. Поэты на путях любви воспели жизнь. Любовь щеголей — короткое замыкание.

Это любовь оскорбительная.

„О доблести, о подвигах, о славе“ мечтал Александр Блок, когда он любил. Невозможное возможно в жизни, когда поэт дает любви голос. Любовь Дантеса была пантомимой. Дантеса надо увидеть, прочтя Маяковского.

От ревности зверем чувствовал себя поэт.

Шкурой

ревности медведь
лежит когтист.

Но всего страшней, когда любовь исчерпается.

Исчерпана любовь. Путь через ад и чистилище, поэт прошел ни к кому.

И молниями телеграмм
мне незачем тебя
будить и беспокоить.

Поэт остался в опустошенной вселенной.

Поговорим еще раз о любви, о славе.

Военная любовь напряжена разлукой, человек оторван от дома.

Стихи Симонова о любви лучше его стихов о Суворове.

Стихотворение „Жди меня“ — заклинание. Ожидание как будто сжигало разлуку, сохраняя любимого.

Но иные стихи Симонова написаны про любовные разговоры холостых мужчин.

Лирику Симонова ищут на фронте. Но что мы сделали для того, чтобы была на фронте вся русская блистательная поэзия о войне и разлуке и лирика Александра Блока?

Дело не в том даже, что стихи Симонова небрежны.

Дело не в том, что поэт открыл тайну своей жизни.

Поэзия на это идет.

Дело в коротком пути к любви. Любовь и война, только рядом, и между ними разлука.

Сейчас кладется основа будущего. Сейчас реки трогаются с гор в дальний путь.

Береги любовь и славу смолоду.

Как шубу с нова:

Береги образ поэта.

Для того, чтобы поднять груз времени, писать о величайших жертвах народа, надо прежде всего найти себя, как поэта, создать, как Суворов создал образ военачальника, образ поэта. Тогда груз будет поднят. Уход же от поэзии сегодняшнего дня, уход в переводы, в чистую лирику, в книги, которые когда-нибудь будут написаны, в каждодневную работу без подъема — все неверно. Верен один путь.

Такой путь сделал Суворов через Альпы.

Май 1943 г.

Алма-Ата

Это было написано в крутом городе Алма-Ата. Город зелен и заслонен горами. Зимой падает тихий, тяжелый снег. Ветви тополей, вытянутые к небу, приобретают наклон. В тихий, солнечный, очень белый день слышишь, как отрываются ветви, оставляя на темной коре длинные белеющие раны. Казахстан тянется от Иртыша до Сыр-Дарьи. В нем есть тайга и виноградники. История Казахстана — это история народа без городов. Между тем казахи единый народ.

Шли кочевья, знали пастухи скот, так, чтобы у него всегда была трава. Зимовали в камышах около Балхаша, там, где сейчас добывают медь. Весною шли в горы. Вся страна изрисована была разнообразными кочевыми кольцами.

Песня доходит от Иртыша до Сыр-Дарьи в три месяца. Когда рождается человек, о нем поют песни, когда умирает, поют песни, и девушка, которая не умеет петь, — не невеста. Песенная культура объединяла народ.

В ней его история.

Здесь сохранились акыны — барды. И сейчас бывают состязания в песне, состязается молодежь, старики — поют по многу часов. Порядок песни установлен, он очень сложен: поют про героев, про гостей, про женщин. Последняя песня в состязании может быть спета на любую тему, но сложена она должна быть так, чтобы ее можно было спеть спереди назад и сзади наперед и чтобы она при этом не изменялась. Такую песнь из русских поэтов мог бы сложить только Хлебников.

Обычная тема песни акына — слава и рассказы о том, как ее достигают. Петь умеют все, и поэтому здесь особенно уважают тех, кто создает песни заново.

СОЛНЦЕ И ЛУНА

О человеке, которому почти сто лет

Живет в Казахстане старый акын. Я не назову его имени, потому что я боюсь ошибиться в подробностях случая. Поет он давно. Прибавляя ему пытались дарить бобровую шубу только за то, чтобы он не упоминал имен в песне, потому что он человек резкий и слово его било, как плеть в глаз.

Когда он приезжал в гости, то столько народу окружало юрту и столько ножей делало прорезы в войлоке, чтобы увидеть знаменитого акына, что войлок юрты превращался в ленты.

После революции старый акын снимался в кино, в массовках, потому что он очень любил народ, но снимать при нем было трудно, потому что люди от него не отходили.

У акына гости. Родственники сидели уже много часов, потому что акын был самый старый за столом и никто не мог встать, пока не встанет он, а он задумался.

Перед ним лежала газета с его портретом.

— Сколько таких рисунков? — спрашивал он уже много раз у своего ученика. Тот отвечал — полтора миллиона.

Акын начинал думать стихами о том, что такое полтора миллиона, как летят полтора

миллиона птиц и им нехватает места на Балхаше, как идут полтора миллиона овец с гор и кажется, что гора тает.

Стихи не выходили.

Старик был грустен, ему нездоровилось.

Он произнес негромко, но за столом не шумели, потому что каждый говорил по очереди, и слова акына слышали все.

Он сказал:

— И вот такому старику надо умереть!

Друг акына — старик из соседнего аула — утешал:

— Огорчаться не надо, слава не уйдет из твоего рода. Ведь все знают, что у нашего предка был невидимый тигр, который всегда ходил за ним. Умные даже слышали тигриный шаг.

Но ни умный, ни глупый не мог посмотреть в глаза нашему предку.

Потом тигр ушел в другой род, потому что место, где он был, не обходили и его толкали невежливые люди. Сейчас тигр вернулся к нам. Он сидит за тобой, ты славен, и мы думаем, что тигр останется среди нас.

Акын произнес несколько рифмованных слов о том, что тигр не помогает от болезни.

Все засмеялись. Заговорил широкоплечий, чуть сутулый Мухтар.

— Если все равно надо умирать, — сказал он, — то не будем беспокоиться о том, что и как случится. Перед зимой заботятся не о снеге, а об одежде. Друг наш Габид умер. Вы знаете все, как хорошо он умел сам дописывать свои песни. В прошлом году он приехал к нам в Союз писателей, привязал коня к голубому

столбику крыльца, вошел в кабинет, где висит твой портрет, Жаке, и сказал Абдельде: «Друг, надо в госиздате поторопить мою новую книгу, потому что я умираю».

Походка у него была тверда, рука не дрожала, но мы поторопили книгу, и она лежала у нас на столе, когда пришли известия о похоронах. Поехали мы в аул. Наш друг построил мазар совсем необыкновенный. Рядом с комнатой для могилы—комната с остекленными окнами, в комнате печь, запас дров, на полке пшено, рядом твои книги, Жаке, книги нашего друга, рукописи Фердоуси, Саади, Абая и Пушкин в переводе Абая. Мы попробовали пепел в печи, пепел был еще горяч. Книга лежала раскрытой, поэт недавно навестил читатель.

— Да, — сказал акын, — он писал хорошо, а хорошие стихи, как тигр, который ходит за человеком невидимо. Они дают силу взгляду, и им надо быть благодарным. Но я не люблю смерть, потому что она меня разлучит с любезными моими гостями и с хорошим временем.

Он взял домбру и начал петь стихи о миллионе.

Он пел о Сталине, пел он хорошо, но голос его уже ослабел, а рука была еще сильна, и звук домбры несколько заглушал песню.

— Слава, — сказал акын, — должна быть, как земля. Мирза-Алишер говорил: «Если хотите цвести весной, не резными драгоценными камнями будьте. Будьте землею». Я говорю вам—землею будьте.

Утром акын не встал.

Он не встал, он не вымылся, он не ел, он не сел на лошадь.

Пришли люди его рода и услышали:

— Я видел ночью солнце во сне.

— Да, это предвещает славную смерть, — сказали люди. — Ты богат, раздели вещи, чтобы после твоей смерти над тобой не спорили.

— Кому ты передашь свою домбру? — спросил ученик.

— Я видел солнце, — ответил акын, — но у меня еще будет песня. Идите, я буду думать о ней.

Потом он сказал несколько шуток, люди смеялись, просили его встать, но он не встал.

Он лежал три дня. Через три дня на самолете из Москвы прилетел доктор. Доктор вымыл руки, надел халат, завязывающийся сзади, и стал весь белым, потому что голова его была седа, только снизу торчали черные брюки и сапоги. Он трогал тело старого акына теплыми руками, слушал сердце через трубку. Щупал пульс и сказал переводчику:

— У больного упадок сил.

Акын понимал по-русски, но любил переводчика, потому что важные вещи хорошо слушать два раза. Он сказал:

— Я видел солнце.

— Сколько лет почтенному акыну? — спросил доктор.

Акын подождал перевода и ответил:

— По нашему лунному счету мне девяносто семь, по вашему солнечному мне меньше; кажется, мне девяносто пять, потому что солнце

не торопится. Я надеялся дожить хотя бы только до ста лет, хотя бы по нашему счету. А сколько лет нашему уважаемому гостю?

Гость ответил:

— Мне шестьдесят два.

— Откуда гость?

— Меня прислали из Москвы, — ответил доктор.

Акын начал:

— Я был в Москве на большом собрании. Сперва я думал, что это свадьба высокого человека, которого зовут Максим Горький, но оказалось, что это просто собрались люди, которые едят. Они говорили, мы пели. Мы поняли друг друга, но это не была свадьба и мне не подарили шапки. Но Горький, который умер совсем молодым, имел глаза настоящего человека и сам ходил, как тигр, который скрывает свои силы. Это человек, память о разговоре с которым оживляет.

— Я знал Горького, — ответил доктор, — и я его лечил, и он мне о вас рассказывал. Горький любил стихи, и в тот вечер, когда он говорил о ваших стихах, он говорил о том, как хорошо поют люди о любви, и упрекал нашего величайшего писателя, который несравним с другими, как несравнимо море с рекой, в том, что тот утаивал любовь. Имя этого писателя Толстой. Он рассказывал о том, как одна женщина любила не своего мужа, а другого человека. Горький мне сказал: они любили друг друга, они жили в Италии, вероятно, они ходили по аллеям при луне, и им было хорошо, и нельзя все это вычеркивать, надев старческие очки.

— Мне говорили про Толстого, — ответил акын, — но нехорошо, если он обидел луну. Пушкина я знаю, — мне о нем рассказывал Абай. Его песню поют наши женщины. Это письмо девушки к юноше, которого она любит. Это хорошее письмо. Лица людей и походки народов разнообразны, но любовь понятна. Тот юноша потерял любовь, ее не найдя.

Доктор ответил:

— Уверены ли вы, что вы во сне видели именно солнце? Может быть, как поэт, вы видели луну, она напоминала вам о том, что вы о ней мало писали и не все сказали о любящих. Горели ли ваши щеки во сне?

— Нет, — сказал акын.

— Я думаю, что вы видели луну, — сказал доктор.

Акын засмеялся и ответил:

— Я думаю, что ты мне привез бодрость, и не стану спорить с гостем.

Утром, когда доктор еще спал, в окно его постучали. Он откинул занавеску и открыл окно. За степями белыми и темно-голубыми гребнями обозначались горы.

У окна на сером жеребце был старый акын. На руке акына рукавица, за рукавицу крепко держался беркут в темном кожаном шлеме, надвинутом на глаза. У беркута перья цвета гранита.

На акыне — веселый праздничный халат.

— Едемте, друг, — сказал Жак. — Это была действительно луна, и солнце сегодня добро ко мне. Я покажу вам, как охотятся на лисиц с беркутом. Я уверен, что вы ездите на лошади так же хорошо, как думаете. Я спою хорошо

о любви, потому что у потерянного ножа рукоятка всегда золотая.

Они поехали. Лежали перед ними степи, такие широкие, что видно было, как круглится большая, прочная, как слово, земля.

Война и Жаке

Прошло два года.

Он лежал в отдельной палате на улице своего имени и знал, что болезнь серьезна, потому что конь жизни гружен годами.

У палаты балкон. Если выйти на балкон, с одной стороны горы.

Горы покрыты редкими, как будто откинутыми назад, елями. Выше елей луга, за ними снег. К границе снега навсегда причалило длинное легкое облако.

В другую сторону круто текла вниз Алма-Ата широкими синеватыми полосами асфальтовых улиц. Город разрезан на квадраты широкими двойными и четверными стенами тополей.

В коридоре шаркали больничными туфлями.

Акын был недоволен всем. Его кормили супами с незнакомым пустым вкусом. Вокруг него было мало людей.

Все время с ним что-то делали и ему что-то говорили, помогая словам жестами, что противоречит почтению к старшим.

Лучше бы ехать на коне то по правой, то по левой стороне быстрой косой реки, в которой волны как будто стоят на якорях. Подниматься к водопадам, над которыми стоят радуги в брызгах. Подняться выше елей, на луга.

Там, у границы снегов, нет мух. Выйти на луг, на котором уже почти изгладились круги старых стоянок юрт, остановиться, напоить коня жесткой чистой струей.

Там, за горами, другой знакомый народ, там горная Киргизия, там его тоже знают, и река будет показывать дорогу; это недалеко, вот только подняться до алма-атинского озера, потом песчаные наносы, снега, луга, еще перевал.

Недалеко.

Когда поэзия спустилась на землю огненным языком, то все народы бросились к ней, но казахи и киргизы быстроконны, они первые схватили огонь.

А здесь надо есть протертый суп, ночью нельзя играть на домбре, здесь говорят, что даже баранина вредна.

Если б он отметил год своего рождения самой глубокой зарубкой на дереве, то давно бы заплыла эта зарубка. Почему люди, которые живут всего несколько десятков лет, учат столетних, как сохранить жизнь? Жизнь надо сохранять, как песню. Песню поешь—она уходит, растет, как пожар на степи.

Они же сохраняют жизнь, как спички в кармане: спичек хватает надолго, если только не зажигать их. Нет, он уедет домой.

Старик вышел на балкон.

Рядом был театр, слишком большой для дома и ничтожный рядом с горами.

Театр расписан знакомым родным орнаментом юрты.

По длинной улице ходят не празднично одетые люди. Что-то в городе происходит.

Почему не говорят ему, когда он член правительства? Что это за время, когда события скрывают от стариков?

Жаке вышел в коридор.

В коридоре взволнованно ходил черноголовый человек. Это знаменитый ученый. Он начал жизнь свою учителем, потом собирал песни, на песнях он познакомился со стариком. Заметь, что в песнях много раз упоминается медь, учитель посмотрел названия степных урочищ и, поверя песне и слову, начал искать металл. Теперь он был знаменит, потому что песня его не обманула: каждая песня закреплена заводом и рудником.

— Что произошло в городе и почему мне никто не говорит об этом и никто не пришел прочесть мне газету?

— Дорогой мой, свет наших глаз, пойдемте и сядемте. Слово, которое я скажу, неблагоприятно.

Они сели на балконе. Горы были те же, только солнце поднялось по ним выше и снега сверкали. Город был весь полон народом, и даже трамвай ходили как-то не по-обычному.

— Война, Жаке! — сказал ученый. — Ночью немцы — фашисты вторглись в нашу страну. Война!

— Не помню, — ответил акын, — пять или шесть войн я пережил. Но война не доходила до наших степей. Казахов не брали в армию, шла война, а у нас стада попрежнему щипали траву, но увеличивались налоги. Молодым я знал только свой аул, потом я узнал свой народ. Стариком я узнал свою Страну Советов. Друг, это первая моя война. Неужели человек толь-

ко для того расширяет свое сердце, только для того растет, чтобы ему стало больнее! Это первое слово, которое я тебе говорю, потому что я не джигит, а старик. А теперь вот тебе слово мужчины. Скажи, что мы можем сделать для войны, что мы имеем?

— Мы имеем свинец; из десяти пуль, которые будут посланы во врага, — восемь имеют тяжесть нашего свинца. Мы имеем уголь и марганец. А также металлы, которые делают сталь тверже, и такие, которые делают ее вязкой, и мы имеем марганец, который очищает железо, и хром, и много угля. Потом мы имеем хлеб, скот и сахар.

— В старых песнях, — отвечал акын, — правильно запомнили мы, что под землю Казахстана ушли серны с золотыми рогами. Но ты не сказал самого главного: мы имеем людей, у которых большое сердце, людей, живущих от Сыр-Дарьи до Иртыша и от этих гор до моря, в котором, как говорят, никогда не тает лед. У всех этих людей одно сердце, и оно в красностенном Кремле.

Геолог ушел.

Старый акын взял домбру, чтобы лучше думать; когда он думал, левая рука его сжималась и разжималась. Думать, зажав в ладони тонкий гриф домбры и поставив пальцы на ее струны, удобно.

Он вспоминал отрывки из Шах-Намэ и Манаса — песни о верных любовниках и воинах. Он думал. Песня не рождалась. Уже стояла радуга песни, но слова были в брызгах и не ложились в русло, и рифма не отмечала еще воли мысли.

Вечером пришел врач—женщина.

Акын произнес:

— Ты молода и вряд ли имеешь четвертую долю срока моей жизни, и кажется мне, что это тебя не огорчает. А я видел дальние дороги горя. Когда нас изгнали при царе со старых наших пастбищ, мы шли такими пустынями, что подошвы нашей обуви стали солеными. Мы жевали волос для того, чтобы утолить жажду слюной. Меня несли тогда, потому что я был очень мал. Я видел много и знаю, что не скоро складывается песня и не скоро делается дело. Придет зима, влача за собою саблю вьюги, и опять придет весна, и вылетит пчела и будет радоваться джиде, которая цветет у источника, и терновнику, потом увянут цветы, а война будет продолжаться, и будут стричь овец, и снова придет зима и будет холодно, и сядут женщины у костров и будут плакать, потому что еще не вернутся воины. Может быть, трижды и четырежды сойдут снега, пока вернутся воины.

Поэтому я говорю тебе. Скажи мне, что мне надо делать, и я буду высовывать язык и есть суп, как ты велишь, и совать стекло подмышку и глотать порошок. Я буду идти за тобою, как слепой за зрячим, как верблюжонок за верблюдицей, как нить за иглой, потому что во мне есть желание увидеть конец, я хочу увидеть торжество моего народа, и я буду послушен, потому что, молодой учитель мой, война— время послушания храбрых.

Доктор улыбнулся.

— Сейчас у нас есть к вам только одна просьба— лягте и засните, потому что вы ус-

тали, и вот я пробую ваши жилы, и кровь ваша стучит учащенно.

— Человек, у которого сердце не изменило своего удара при такой вести, может быть, и здоров, но он не годен никуда. Я лягу, но не смогу закрыть глаза. Сейчас и этой ночью женщины пекут лепешки, осматривают сапоги воинов, воины точат оружие и проверяют седла, — как я могу спать?!

Всю ночь он думал. Он сел в постели, опершись о высокие подушки, рука его двигалась, как на струнах, он думал о том, что надо сказать Нурпеису и Нарпаю и многим другим, чтобы они ехали по колхозам и пели песни и собирали рис и просо, мед и овчину, потому что война будет долгая. Пускай они пойдут и подскажут людям начало мысли о разлуке, чтобы эта мысль не была бледна, чтобы она не была рыданием.

Он знал Кремль.

Но Кремль он сейчас представлял себе с более высокими стенами, с более сдвинутыми башнями, как будто этот Кремль был выткан на ковре. В Кремле был Сталин, он не спал. Не спал акын, он думал о песне, которую напишет. Будет стыдно, если его перепоют ученики, и будет горько, если они споют плохо. Какое красивое громкое слово сказать среди долгой и громкой, как вьюга, тяжелой, как зима, войны?

Он не спал всю ночь и думал о народе своем и о народе русском и о других своих народах и понял, что такое миллионы.

Сердце его томилось и восторгалось.

Утром, в час, когда уже можно было отли-

чить голубую нить от белой, в час первой утренней теплоты, когда над городом еще первый чистый воздух, пришли слова предчувствием стиха.

Это была песня о вожде, который берет победу и не выпускает ее из рук.

Акын вышел на балкон.

Легкое длинное облако отчаливало от границы лугов и снега, оно уходило вдаль.

Внизу, за городом, в ту же сторону, на север, шел воинский поезд и был составлен из вагонов, как песня из слов.

Шел поспешный воинский поезд на север. На север, к Москве, ехали казахи, киргизы, русские. В вагонах воины говорили о генерале Панфилове.

О ЛЮБВИ И РАБОТЕ

Достоевский говорил в „Дневнике писателя“, что если после лиссабонского землетрясения наутро выйдет газета и в ней будут напечатаны стихи:

Шопот, робкое дыханье, трели соловья,
то поэта казнит народ, а потом поставит
ему, может быть, памятник.

Это не значит, что во время войны пишут только о войне. Я недавно слушал переводы Фердоуси, сделанные Бану.

Фердоуси писал тысячу лет тому назад. Шах-Намэ — это шестьдесят тысяч двести лет. Поэма начинается чуть не с сотворения мира, но она хорошо слушается, она живет сейчас.

Не только ее, но и сатиру по ее поводу, сатиру на ее непонимание, написанную Фердоуси, уже в его жизни пели на базаре.

Поэма живет тысячу лет и жива сейчас, даже среди неграмотных.

Она пришла к нам, измененная в сказку.

Эта сказка об Еруслане Лазаревиче.

Еруслан — это Рустем — герой Фердоуси.

Поэма живет реализмом героичности. Подвиги грандиозны, но в них есть точность мускульного ощущения, и мы верим в каждое движение героя, несмотря на невероятность масштабов.

После войны литература изменится, и меняется она уже сейчас. Весь великий русский девятнадцатый век определен грозой двенадцатого года.

Нам понадобится заново мировая литература.

Грек Ксенофонт говорил про древних персов, что они учат детей ездить на конях, владеть луком и говорить правду.

Всему этому можно научиться у Фердоуси.

Нам надо с новой высоты увидеть всю мировую литературу.

Хлебников в 1912 году писал, что русская литература должна расти дальше, узнав заново литературы славянские и литературы Востока. Хлебников говорил, что надо изучать песни славян побережья Адриатического моря и монгольский эпос.

Я был на айтысах. Певцы приветствовали нас, называя нас инженерами человеческих душ, а сказителей — инженерами богатырских душ.

Инженер не каталогизирует, а создает чертежи. Маяковский говорил, что надо создавать розы, а не только нюхать их.

Инженер — создатель, а не зритель.

Надо строить человеческую душу, а не только ее описывать. По какому чертежу будет создан человек-победитель, человек нашей страны, тот, который будет жить в городах стройных, как невод на морском берегу.

Надо описывать человека в деле, надо глядеть вперед.

Глаза глядящего вперед исцеляют уродство.

Мне рассказывал академик советской и английской академий П. Л. Капица. Великий английский физик лорд Резерфорд, тот, кото-

рый разъял атом, говорил речь о другом физике. Он говорил о великом учителе, могучем уме, о добром старшем друге.

Ехали с вечера вместе. Петр Леонидович спросил Резерфорда: ведь все это было не совсем так, у покойного был плохой характер и с ним было довольно трудно в лаборатории, как-то можно было живее про него рассказать, и это бы не обидело его памяти.

Тогда английский физик ответил:

— Вы правы, мой дорогой, но я так не сумел. Но, так как вы мой друг и ученик, я хочу, пользуясь вашей молодостью, взять с вас слово, что когда вы будете говорить обо мне, то скажете всю правду, все так, как было. Я очень вас об этом прошу. Это мое завещание. Только, когда будете говорить по-английски, говорите хорошо, вы так давно у нас живете, что вам пора приобрести лондонское произношение.

— Англия прощает мне многое, — ответил Капица, — даже то, что я хороший физик, но хорошего произношения мне бы не простили, это считается здешней привилегией. Очевидно, мое произношение похвалят после моей смерти.

Потом умер лорд.

И вот рассказывает Капица.

Он хотел дать живой образ умершего учителя, выполнив завещание, но вспомнил атом, работу, усилия мысли, восторг и трудности открытия, и все сгорело. Он написал про героя, построив душу человека по чертежу подвига.

Получилась речь, сказанная инженером богатырских душ.

Значит, дело в том, что надо само понятие человека возвысить, надо говорить о человеке

таким, какой сейчас воюет у нас, или о человеке — академике Павлове.

Это не значит, что надо говорить о человеке голо. Сейчас Капица в своем гнезде над Москвой-рекой запряг воздушного вола в маленький турбогенератор, сжимает воздух и выжимает из него жидкий кислород, а с помощью кислорода делает разные вещи, полезные войне.

В Англии летом Капица жил когда-то в высокой каменной семиэтажной ветряной мельнице, которая стояла на берегу океана и вертела над крутым белым каменным обрывом крыльями. Мельница жила так долго потому, что находилась под покровительством специального общества сохранения ветряных мельниц от жестокого обращения. Там, вероятно, шумело, и ветер с океана приходил, охлажденный пространством, и лазать было высоко. Но Капица любил ветер и еще не думал, но предчувствовал то, к чему он шел долгим путем и на чем он не остановится, потому что он любит те места, где теория шатается и через нее просвечивается новая мысль, сперва выглядящая как упрек, сквозняк или насмешка. Сеченов, Павлов, Менделеев и наши современники мыслят заново. Менделеев говорил, что наука создает не дорогу, а мосты, переброшенные от факта к факту. Твердо упертые, смелые мосты.

Немцы нас ненавидят, потому что они завидуют смелой мысли, не боящейся полета.

Как же писать о Капице?

Я могу написать, что он темнорусый, что говорит он довольно быстро, быстро думает и

внезапно останавливается, чтобы дать собеседнику время себя нагнать; что на стенах его комнаты рисунки крокодилов, которых он, очевидно, любит, и сотни фотографий с автографами — и все это фотографии людей, знаменитых, как Большая Медведица. Могу написать, что у него сейчас на лаун-теннисном поле сделаны лунки, посажены помидоры и урожай будет хороший.

Но надо писать про главное.

Ведь про Илью Муромца можно сказать, что у него был плохой характер и что в одной былине он сам признает, что любит ложиться с краю постели, а не к стене, потому что ему ночью вставать надо. Но Илья это говорит в обман, в насмешку. Главное у Ильи — уметь сражаться да еще уметь дороги строить.

В Капице главное — большая наука. Он пишет: „У нас... часто принято судить о достижениях науки только по ее практическим результатам, и получается, что тот, кто сорвал яблоко, тот и сделал главную работу, тогда как на самом деле, кто посадил яблоню, тот сделал яблоко“.

Надо писать о людях не по рассказам их родственников; вот надо сейчас написать о советском маршале или о великом ученом.

Писать о людях по их делу.

Суворов говорил, что храбрость нужна солдату, отвага — офицеру, мужество — генералу. Мужество включает в себя и храбрость и отвагу.

Суворов вошел в память народов седым, как Павлов, как Толстой. Будем писать о мужестве.

— Суворов учил Нельсона правилам жизни в своем возрасте. Не надо задерживать молодость. Всем жалко молодой любви. В молодость влюблено человечество, но Лев Николаевич Толстой сумел измениться много раз. Возрасты—это стадии жизни человека. Каждый возраст — новое обязательство, и если это любовь, то это другая любовь.

Человек не в своем возрасте непонятен.

Случилось со мной так: на дорогах Смоленщины меня обогнала телега; на телеге стояли носилки, на носилках—сандружинница в обгорелой, изорванной шинели. Прошли дожди, осень, девушка лежит на носилках, засунув руки в рукава, зябнет.

Она говорит мне:

— Товарищ командир, садитесь.

— Я не командир, я корреспондент.

— Садитесь, товарищ, садитесь с краю, тут не запачкаетесь, все обсохло. Дорого стоит нам Ржев, товарищ.

Я сел.

Так, не спеша, идет телега. Девушка отдыхает на окровавленных носилках.

— Я из Новосибирска, училась в театральной школе. Посмотрела картину „Фронтные подруги“, сюда приехала. Работа наша трудная, я тоскую, а щеки у меня толстые. Вот я раз иду, а боец на меня смотрит, улыбается и говорит — какая веселая. А я совсем не веселая, это у меня щеки такие. Ну, значит, я поняла, что надо быть веселой, потому что война. А отец у меня доктор, только он на другом фронте. Вот я увидела, как вы бредете по краю дороги, и подумала — вот так же идет мой

папенька где-нибудь, совсем старенький, и ноги у него сырые. Вы не стесняйтесь, милый товарищ, у меня есть сухие портянки, переобуйтесь.

Я провел по лицу рукою. Что я — не бритый? Нет, бритый.

Вот не знаю — щеки ли мне, что ли, толстые завести? Та любовь, которая прошла, она, как волна с радио, которое разрушено.

Идет волна и сталкивается с другой человеческой волною, как любовь, описанная поэтом, пробуждает и усиливает любовь других людей.

Так взрывы „Катюш“, сталкиваясь друг с другом, утысячяются и прокладывают дорогу пехоте.

Вспомним Лейлу и Меджнуна — старых арабов. Меджнун хотел увезти Лейлу в свой шатер. Имя его значит безумец.

Любовь Маяковского была его парусом и грузом.

Маяковский хотел имя Лили зарифмовать с новой жизнью. Поэт говорил, что ревность превращает его в медведя.

На несгорающий костер любви входил поэт.

Когда Меджнун встретился с Лейлой в VII веке — год не установлен точно, но травы и цветы сошлись над влюбленными и выросли, как деревья, на согретой любовью земле.

За Меджнуном потом шли лани и слушали его и лизали его след, как соль, потому что он говорил о любви.

Когда Навои из Узбекистана заново начал писать про эту историю, — а это было в XV веке, — он рассказал, как ходил за поэтом пес с той улицы, где жила любимая, и с ним, с

псом, шерсть которого вылезла и глаза впали, говорил поэт о любви.

Любовь имеет свой возраст и вечность. Любовь Маяковского уже иная, чем любовь Навои и Петрарки, он боролся за иное качество любви. Поэты осознают изменение души человечества.

Крута любовь. С полпути земного бытия, с тридцати лет, пошел Данте вниз, в ад.

Мне говорил Владимир, что до тридцати лет тебя любят все, после тридцати тоже все, кроме той, которую ты любишь. Но дело было не в возрасте. Ехать и идти к Маяковскому было очень далеко, он хотел увезти любимую к себе в свою строфу, в свою строку, к себе в поэзию, в Ленинград, где Нева бежит под мостами, соединяющими строфы города.

Немецкими снарядами окровавлена по карнизы улица, которая прежде звалась Надеждинской, а теперь зовется улицей Маяковского на тысячу лет вперед.

Я там родился, в доме, теперь разрушенном.

По дорогам, отражающим на земле Млечный путь, идет поэзия, она изменяется, растет. Маяковский был инженер любви, он хотел построить богатырскую любовь и оказался тогда большим и ненужным, но остался чертеж любви.

Вот видите, я все же начал говорить о молодости.

Но будем лучше, как те путники, которые поднимаются в телеге и смотрят вперед, что там впереди на пути, что там еще впереди в жизни.

Смоленщина

Стоит Вязьма в Смоленской земле. Это древняя земля, ее знали арабы и называли Смоленск — Азмилинском. Здесь в земле находят сердолики и браслеты, связанные из проволоки жгутом.

Здесь смолили лодки, сплавливали их по Днепру на Киев, и оттуда шли лодки на Царьград, и, когда была буря, связывали их вместе, и они скрипели друг о друга смолеными своими бортами, но не тонули.

Здесь умели еще в двенадцатом веке читать Гомера, говорили о Платоне и сумели строить крепости и разводить пчел, здесь было много воска и меду, и потому здесь делали пряники.

Вязьма была вся цветная — желтая, красная. Улицы ее кривые, церкви ее, как цветы, — весь город как будто сделан пчелами. Такой я знал Вязьму. Такой прошла она сквозь историю.

Живу я в Лаврушинском переулке, угол Толмачевского, а зади меня переулоч Кадашевский, рядом Клементовский.

Толмачевский переулоч потому, что рядом Ордынка, а при орде были толмачи.

На Кадашах работали царские ткачи, ткали холсты, в Клементовском переулке была церковь Клементя, и здесь казаки остановили гетмана Ходкевича.

Лучами в наших местах идут Ордынка и Полянка к стенам старых крепостей, которых уже нет.

Нет ворот, но остались направления дорог. История каждый день поворачивает меня. Она не прошла.

Написано в старой книге: „Вы говорите: время идет; безумцы, это вы проходите“.

В персидской сказке мудрец спрашивал людей, идущих за гробом:

— Покойник живой или мертвый?

— Все мертвые мертвы, — ответили ему.

И сказал тот человек в сказке:

— Нет, если человек оставил после себя дерево, им посаженное, колодець, им вырытый, или сына, — он не мертв.

Бессмертие в истории — единственное человеку доступное.

Недавно поехал в Вязьму.

И вот нет города. Есть кости города, разбитые кости, нет города, изорваны рельсы. Люди положены живыми в противотанковые рвы, похоронены люди.

Нет города Вязьмы, нет сел на Днепре, но верховья Днепра в наших руках. Мы там, где сошлись Волга, Западная Двина и Днепр.

У нас место рождения рек, мы пойдем вниз вместе с полой водой, мы спросим немцев: выкопали ли они колодец, посадили ли они дерево; мы спросим: почему они убили наших детей?

Мы живые, нет тьмы времен... Нет смерти. Мы сажали деревья, строили дома, у нас есть сыновья, мы помним свою историю.

НА ПОЛЯХ СМОЛЕНЩИНЫ

Дни,
Вылезайте из годов лачуг!
Какой раскрыть за собой еще?
Дымным хвостом по векам волочу
Озаренное пожарами побоище.

О Марко Поло

Мне пришлось писать книгу о венецианском путешественнике — Марко Поло. Он проехал через Россию на Китай в те времена, когда Монгольская империя объединяла и Китай, и Сибирь, и покоренную Россию. Марко Поло писал свой дорожник много лет. Сперва он писал о женщинах, потом о кречетах и соколах для охоты. Кречеты тогда стоили дорого. Это был драгоценный подарок. Потом Марко Поло постарел и начал писать о драгоценных камнях и бумажных деньгах, изобретенных китайцами.

Так путешествовал купец вниз по крутизне жизни.

Народы тогда были спутаны. В Пекине стояли русские войска под начальством князя Григория. В Южном Китае были аланы, предки теперешних осетин. Вдоль дорог тянулись фактории торговых народов.

Карл Маркс говорил, что торговые народы древности жили в порах других народов. Так жили боги Демокрита в порах между атомами.

Но Марко Поло любил свой народ, любил свой город, который тогда еще был полон запахом свежих елей: в Венеции били сваи. Венецианец Марко Поло сражался с генуэзцами, в тюрьме написал свою книгу, не выдавши тайны дорог.

Ко мне приходил Константин Ильич Кунин — востоковед. Мы разговаривали с ним о сирийцах — несторианах, которые бывали в Тобольске, и в Тибете, и на Цейлоне и сейчас говорят в Курдистане на языке книги пророка Даниила.

Мы говорили о том, что такое нация и как изменяется понятие о нации. Мы говорили о Данилевском, о типах развития народа, о том, что народы разнообразны. Говорили о Достоевском и его речи на праздновании памяти Пушкина, о том, что русский народ понимает другие народы и не хочет заменить собою народы мира.

Кунин в это время начал книгу о тверском купце Афанасии Никитине. Афанасий Никитин выехал из Руси в 1456 году. Присоединился он к посольству, что везло кречетов к шемахинскому хану от царя Ивана Третьего. По дороге Афанасия ограбили. Вернуться на Русь ему было не с чем. Пошел он за Каспийское море, попал в Индию. В Индии пробыл много лет, торговал конями. Смотрел, какой товар тамошний нужен для Твери. Товара такого не нашел.

Вел Афанасий Никитин записки, писал про людей военных, про князей, про женщин. То, что было нескромно, записывал Никитин по-индусски и персидски.

Возвращался тверянин Афанасий Никитин через Трапезунд. Путь шел на Кафу в Крыму. Много раз ветер отбрасывал назад корабль. С трудом добрался Никитин до Кафы, оттуда пошел сухим путем домой. Ехал долго. Весною умер он в Смоленщине. Рукопись его была списана и отправлена к великому князю.

Списывали ее дьяки слово за словом, а что было непонятным, то и букву за буквою. Так попали в рукопись персидские и индусские слова. Кончалась рукопись словами: „Ала саклие буду ниани уруси тангри сакласен“.

0 годе 1941

Началась война, немцы пересекли нашу границу, танками прорвались через наши реки. В именах мест боев ожила русская история.

На Россию шли немцы, люди, не знающие другой истории, кроме своей. Они нашли для войны хлор, газ, выедающий краску из травы и листьев, превращающий жизнь в тень. Шли против нас танки, отобранные у французов, голландцев, бельгийцев, поляков, чехов, у государств, превращенных в тень.

Тогда начали собирать московское ополчение. Записывались истопники домов, директора заводов, дворники, писатели, архитекторы. Уходило на фронт краснопресненское ополчение. В ополчении шел Кунин, рядом со многими писателями.

Отряд выстоял несколько часов в Смоленщине, под Дорогобужем, а потом попал в окружение. Мы в Москве этого не знали — отправили подарки. С подарками поехала жена Кунина.

Потом узнаем: пропал отряд.

Остались книги. Книга о Васко-де-Гама, книга о Магеллане, детская книга о том, как открывали мир, полное издание книги Марко Поло и ненапечатанные рукописи — книга об Афанасии Никитине.

Через несколько месяцев я получил открытку. Писал Кунин, писал, что вышел из окружения, переплыл реку, попал в партизанский район, его вывели к нашей армии, стал он там переводчиком, а недавно узнал, что жена его погибла.

Еще он писал: „Я никогда не думал, что вид убитого врага может утешить“. Просил Кунин сходить в его квартиру, посмотреть, не погибла ли библиотека и где рукописи книги об Афанасии Никитине.

На открытке была приписка: „Переводчик Кунин убит в штыковом бою“.

Убит Кунин — черноволосый, длинноглазый, приземистый; убит человек, знавший китайский язык, любивший русскую историю.

Не дойдя до Смоленска, на русской земле, защищая родину, умер еврей Кунин.

Кунин, если бы я мог тебе сказать в последний час слово утешения.

Ты умер на русской земле, не дойдя до Смоленска, там, где умер тот тверянин. Я прочту над тобой молитву Никитина:

„Ала саклие буду ниани уруси тангри сакласен“, что значит: „Да сохранит бог сей мир, да сохранит бог Россию“.

Так утаенно молился Афанасий, умирая под Смоленском, любя родину всем сердцем.

НА ДНЕПРЕ

Мне задали вопрос

Немцы отходят. Они сжигают деревни. Левый берег Днепра, как бритый.

Два дня я был здесь. Таял снег, и вот из-под снега показались черные обводы домов, как будто буквы.

Это сгоревшие деревни. Сожженные, разбитые деревни. В одной деревне осталась изба, к ней пристроена террасочка из неободранной березы. Это немцы разводили уют. А деревни нет.

Около дороги брошенный автомобиль. Автомобиль легковой, колеса с него сняты, капот машины открыт, видно, что машина раздета, а в автомобиле дети и женщины с узлами. Вернулись жители в освобожденные места, а рядом пожарище, и на пожарище лежат немецкие каски, как черепа, и тут же семья и женщина копаются в углях. Зарыли что-то, а сейчас ищут.

А еще дальше пришла женщина в тулупе, хоть и лето. За пазухой тулупа у нее ребенок, как огромный толстый бумажник. Женщина откинула плечи назад, чтоб уравновесить груз. Тулуп подпоясан крепко, за подпояску сзади держатся двое детей. Смотрят.

Перед ними труба и печь.

Из печи вышла кошка, вероятно, здешняя. Кошка смотрит на хозяев и не узнает. Одичала кошка.

Трудны встречи после разлук.

Правее, на Минском шоссе, лежит с переломленным хребтом широкий бетонный мост, показывая ребристую свою грудь. За ним насыпь расщеплена, как шерстяная нить. Рядом с ним сожженный временный мост и наш, только что поставленный.

Левый берег Днепра, как бритый. По краям дороги бегут ручьи, долина Днепра широка, и не за что зацепиться взглядом. Но стучат топоры: женщины из откуда-то добытых бревен и досок ставят временные избы. И рядом толкут рожь в деревянных ступках, похожих на рюмки.

Немцы ушли. Из землянок вылезли дети и улыбаются. Скоро стает снег, русские будут сеять.

Еще дальше серый лед Днепра забрызган темносерыми камнями гранитных устоев моста. Мост, скорченный, лежит на льду. За рекою стреляют. Высоко над днепровской долиной поднялась железнодорожная насыпь. Талые поля — наступила распутица. На рельсах через каждые четырнадцать шагов выкушен кусок из рельсов, взорваны все соединения.

Разрушения однообразны. В полотне глубокие колодцы, обшитые внутри тесом. Рядом обрывки бумаги, вошенная бумага, как будто кто-то ел крупные конфеты.

Это прошли наши минеры и отрыли фугасы. Глубоко, на пять с половиной метров, были

заложены фугасы, затрамбованы, заровнены, вынутая земля была унесена за километр, давно было все приготовлено, в узкую щель потом спустили в последний момент взрыватель. Глубоко под землю чуть слышно шли заведенные немецкие машины.

Сколько замедленной ненависти у немцев! Они готовили эти машины уже тогда, когда спекулировали валютой и выпрашивали у Америки подаяния на восстановление хозяйства. Это оружие, приготовленное за десятки лет.

Взорванный металл мешает найти мины, и вот все же мины найдены.

На насыпи резкий ветер. Перед самым мостом в глубокой котловине от взрыва лежат два бойца. У одного в руке тонкий щуп, кончающийся стальным острием.

Знакомлюсь. Один из них сержант — Сухоруков Владимир Аркадиевич. По мирной жизни, по гражданке, как у нас говорят, он избач, заведывал избой-читальней в колхозе на Дону, колхоз так и назывался „Луч на Дону“. Сухорукову тридцать восемь лет, семья его угнана немцами или немцами истреблена. Сегодня он уже обезвредил несколько мин, а вчера нашел фугасный колодец. А рядом с ним лежит чернобровый, круглолицый Анатолий Антонович Черныч из-под Новороссийска. Был он помощником машиниста, была у него семья, и семья уничтожена или увезена немцами. И вот двое бойцов с самого начала войны идут перед немцами или за ними. Минер и при отступлении и при наступлении находится в непосредственном соприкосновении с гибелью.

Минер может ошибаться в жизни только один раз. Немецкая мина имеет три взрывателя, ее нужно обрывать руками, надо осторожно вынуть верхний взрыватель, повернуть нижний так, чтобы сошлись отверстия, и ввести медную чеку, закрепив взрыватель, и тогда можно мину нести к себе на склад.

Мины тут разные — противопехотные и танковые. Они вытаивают, летом их разыскивать труднее, потому что они зеленые. На станции Туманово все было заминировано ловушками: и котелок, и колодец, и блок-аппарат — все кругом отравлено взрывами. Здесь нужно осторожно дышать.

Вчера минеры отрывали фугас.

Работают они на этой работе каждый день, значит, им надо спать, есть, иметь свой режим дня. Нашли колодец, начали рыть, наступила тьма. С минами лучше ночью не работать. Легли спать, встали утром, думают попить чаю. Лейтенант говорит: „Лучше после поьем и побреемся. Давайте сейчас докопаем“.

Кончили выкапывать. Оказалось, что взрыватель был на исходе, до смерти осталось полчаса. Вынули эту машинку, положили, побрились, попили чаю, пошли дальше.

На станции Одинцово сорок одна мина, и в каждой избе мина, и каждую мину находит лейтенант Николай Алексеевич Загорский, — год рождения девятнадцатый.

Сказал мне Сухоруков:

— Вот семья пропала, и жизни как будто не было, и не был я избачом. Иногда лежу, вспоминаю, что читали у нас в колхозе.

Островского, Макаренку уважали, Гайдара любили... Книг было не много.

Я хочу с немцами поговорить, спросить их матерей: как это вы детей растили? Какие книжки им давали? Кто их писал?.. А правда, что немцы Гайдара убили?

— Правда.

О Гайдаре

Гайдар еще мальчиком ушел в Красную Армию. Сражался с немцами под Киевом. Сражался в приднепровских лесах, отступал от немцев, а потом гнал их. Юношей он стал командиром отряда. Потом демобилизовался.

Первые книги Гайдара люди полюбили за то, что он вспоминал о хорошем.

У писателя трудна вторая книга. Первая книга проливается, как дождь. Гайдар чем дальше, тем все лучше писал.

Он написал книгу о мальчике Тимуре и его команде, о детях, помогающих людям жить легче.

На фронт он пошел журналистом.

Немцы хотели взять Киев с ходу, но их выбили из города ополченцы. Началось окружение. Враг был виден в подзорную трубу, а Киев работал, открылся театр „Миниатюр“, открылся цирк. Немцы охватили Киев глубоким обхватом, и тогда, по приказу, началось отступление.

Ушла армия, за армией шло гражданское население. Шел одним из последних Аркадий Гайдар. Дорога вела на Прилуки. Немцы вклинивались, стараясь разрезать армию. По-

явились люди, ищущие свои части. Гайдар собирал людей, и оказался он во главе полка.

В болотах ариергард был окружен. В небольшой рощице, на сухом острове, заперты были среди топи тысячи людей.

Решили снять борта автомобилей и по ним уйти через болота. Проложили узкую дорогу на шесть километров, почти на километр бортов нехватало.

Шли глубокой грязью.

Гайдар шел сзади. С остатками людей выбрался в приднепровские леса, попал в партизанский отряд.

Зимой получили мы письмо, что Аркадий Гайдар убит. Тело его вынесли и похоронили около железнодорожного пути, недалеко от станционной будки, под дубом, у Днепра.

Будет еще весна. Прогоним мы немцев.

Растает вода в лесах, пойдет вода мимо разрушенных, взорванных мостов Смоленщины, пойдет вниз, к Украине.

Около Кичкаса починят серебряную рану плотины.

Будет подыматься вода, начнут уходить опять под воду пороги.

Вода начнет разливаться по полям. Те поля много лет были дном озера Днепростроя, будут снова пить воду, долго пить, напокая.

Они будут пить воду, как горе, покамест горя станет довольно. Начнет повышаться вода, станет расти зеркало озера.

В приднепровских лесах стоит дуб.

У него широко раскинутые ветви.

Дуб держит в охапке ветер.

Под дубом, завернутый в простреленную истрепанную солдатскую шинель, закопан убитый, не знающий боли и страха Аркадий Гайдар.

Когда будет остановлено горе и станут крыть крышами разоренные города, когда восстановят Киев, Чернигов и Вязьму и будут называть улицы именами погибших, тогда мы придем туда, где лежит Гайдар.

Он должен был стать великим русским писателем.

Гайдар не мертв, он оставил после себя книги и сына.

Май 1943 г.

Павлов жил под Ленинградом

В лабораторию академика Павлова я ходил тогда, когда хотел написать сценарий. Сценарий не получился, но работа не пропадает, кое-что я понял.

Павлов был человек гордый. Однажды на собрании он ругал немецкую расистскую теорию. Немец-ученый прислал Павлову записку, где докладывал, что он уйдет из зала, если не прекратятся нападки на Германию. Павлов ответил: вы никуда не уйдете, потому что вы недостаточно знамениты.

Тема этой книги — с немецкими фашистами сражается вся советская культура. Реки и ручьи текут, определяясь одним и тем же великим времяразделом. Поят их одни и те же, прожектором освещенные, тучи.

РАЗГОВОР В ЛЕСУ

Инспекторское посещение

Лес был перестойный.

Его начали сводить, но помешала война. Время уже разредело насаждения, но кроны деревьев раскинулись широко, и сверху лес, вероятно, был непроницаем. Люди лежали под плащ-палатками, повешенными на шесты, в тесных конвертах, на носилках. Здесь сортировали раненых и лечили легко раненных, которых можно было не отправлять в тыл. Плохо было с огнем, потому что редко бывает огонь без дыма. Между тем пошел дождь, и хворост отсырел, а сверху летали самолеты.

Они кружились, сменялись. За разведчиками, легкими, сквозными, как венский стул, прилетал бомбардировщик. Били дороги. Лес не был раскрыт, но выходить на опушку или полянку нельзя было.

Старый дивизионный врач, который производил инспекцию пункта, собирался сесть на лошадь, чтобы уехать, но дороге бомбили.

Врачи пункта—молодежь, дивизионный врач—человек с европейским именем, знаменитый теоретик, человек дерзкого неожиданного размаха, ученик и, может быть, соперник академика Павлова.

Для врачей он был прежде всего профессором. Этот уютный, шутивший на лекциях, любящий хорошо поесть, умеющий пить человек устроил госпиталю проборку за то, что белье плохо кипятилось.

Ему так радовались, когда он приехал. Он приехал из науки, от большой мысли, а лазил в котелки, проверял белье и говорил как начальник. Сейчас он уезжал. Все знали, что старый профессор смел, его не удержит бомбардировка.

Старик, — так его звали из уважения, хотя он и в самом деле был стариком, — поставил ногу в стремя. Садился на коня он почти незаметно, но сейчас он задержался, и старый мерин, отставив ногу влево, покосился на профессора изумленно.

— Пережду, — сказал профессор.

Молодые врачи посмотрели на него с надеждой. Он улыбнулся и повторил:

— Пережду!

Профессор проводит беседу

— Ну, значит, деловая часть окончена. О чем бы поговорить с вами, товарищи? Давайте я расскажу вам про Ивана Петровича Павлова, моего учителя. Великий это был человек, и замечательный из него вышел бы командующий фронтом. Держал он нас в руках так, что если посадит на стул, то без дела у него со стула не сойдешь. Он меня раз поставил следить за собакой. Надо было записывать движения капель слюны каждые двадцать минут. И я спал полгода на полу, подложив полено под голову,

и боялся проспать, боялся, что полено окажется уж очень мягким.

Иван Петрович меня любил — может быть, за то, что я дружил с его сыном. Суровый этот человек уважал дружбу. А может быть, любил он меня еще и за то, что копал я хорошо, а время было трудное, при нашем институте развели огород, и требовал Иван Петрович, чтобы все копали хорошо, и хороших огородников называли столпами и устоями института.

Слышно было, как бомбят дорогу.

— Ждать придется, — сказал профессор. — Сядем-ка к раненым, им тоже интересно, что врачи говорят.

Так вот, товарищи. Было это совсем недавно — шесть лет тому назад. Умер у Ивана Петровича сын в Ленинграде, умер от рака. Мы очень за старика беспокоились, и послали меня к нему, чтобы побыл я с академиком. А я не знал, что делать, как утешать такого человека. Он большой, все сам решает. Скажешь ему, а он оборвет, и будет ему еще труднее.

Вот приехал я к нему в Колтуши, там стоят такие беленькие дачки. В одной даче две обезьяны живут — Рафаэль и Роза. Такие неприятные, похожи на человека, но как будто человек опустился, пропился, стыд потерял и еще этим хвастается, а ноги без сапог и пальцы на ногах длинные.

Приехал я утром, пришел к Павлову. Была уже очень глубокая, вот как сейчас, осень. На рябине ягоды темнокрасные, лес сквозит, а сосны выделились.

„Купаться! — сказал Иван Петрович. — Купаться пойдем“, — и велел дать мне простыню.

Идем под гору. Иван Петрович хромает, у него нога была сломана. Я понимаю, что он думает. Думает он, что надо купаться, надо попытаться восстановить ту бодрость, которую дает холодная вода и трение мохнатой простыней, надо не нарушать своей жизни, надо цепляться за старые привычки, потому что старые привычки рожают прежние отзвуки, мы их зовем рефлексами. Можно вцепиться в жизнь, как в ручки трамвая, и она увезет тебя, как трамвай, а потом в нее, в жизнь, влезешь.

Идем мы вниз, и Иван Петрович палкой сшибает листья с дороги, сердится, что не убраны.

Купальня махонькая, так, квадратик воды. Зеленые дощатые перегородки, на воде осенний лист. Льда нет, а лезть не хочется.

Иван Петрович разделся, спокойно сошел в воду, помочил холодной водой подложечкой, нагнулся, вымыл волосы, нырнул и знакомым пролазом выплыл в озеро.

Плыл он по-стариковски, низко держа над водой голову, и способ плыть у него старинный — саженками, но все же вода между плечом его и шеей бурлила. Плыл и я за ним. Плыву по-лягушечьи, брасом, тоже нынешнего кроля я не понимаю. Поплавали, вылезли. Действительно, хорошо. Обтерлись простынями. У Ивана Петровича щеки порозовели, и он заговорил о своем горе:

„Когда сын мой родился, Охтенского моста еще не было, а Троицкий был деревянный, а

меня уже считали старым профессором. Я сидел тогда в кабинете, писал. Жена рожала дома. Я сам не принимал. Прибежал товарищ, говорит — сын родился — и какая у тебя копоть. А я писал и не заметил, что лампа коптит и петралей в лампе почти выгорел. Петралей тогда, дорогой мой, еще керосином не звали, возили в цистернах, и на каждой цистерне было свое имя, как нынче на пароходах, только имена были священные — Будда, Магомет, Конфуций, а цистерну с именем Христа полиция не разрешила. Бывало, идут такие цистерны, их везет паровоз длинный с трубой, а сын через окошко читает названия... Теперь сын мертвый.

Теперь все иное, вот останешься, как сосна в лесу, а все деревья без листьев, а сосна будет жива, а ей холодно. Я нового многого не понимаю, у меня упрямство стариковское».

Вдали бомбили, вдали отвечали зенитки. Молодежь слушала старика профессора, понимая, что это он их утешает, чтобы не уехать в ссоре.

— Вот пошли мы, товарищи, к обезьянам; Рафаэль сидит, рассматривает синюю губу нижнюю, он так любил ее топырить. Чешется Рафаэль, прыгнул потом, и глаза блестят, а сосредоточиться не может, торможения нет.

Смотрит Иван Петрович и говорит: „Какая прекрасная хаотическая молодая жизнь!“

И у него на глазах слезы..

Пошли, на плечах у нас простыни тяжелые.

„Рак, — говорит Иван Петрович. — Разрастаются в организме отдельные клетки — клетки-паразиты, клетки-эгоисты, и гибнет человек.

Так народы и государства, потерявшие разум, хотят вытеснить других, они говорят, что это рост организма, но это рост рака“.

Значит, Иван Петрович все время думает о сыне. Вижу я, что он идет в главное помещение. На вешалке много пальто, котелки: иностранцы приехали, будут выражать соболезнование.

Входит Иван Петрович, дверь открывает, часы бьют девять. Он сам был как заведенный, никогда не опаздывал. В двенадцать часов всегда вытаскивал из кармана часы и вздрагивал. Это потому, что читал он всю жизнь в Ленинграде, в Военно-Медицинской академии, лекции, а на Петропавловской крепости рядом пушка в полдень била. Большое значение имеют, товарищи, привычки. На этом воинский порядок стоит. Привыкайте все исполнять до конца так, чтобы это уже было вне сознания, чтобы привычка вас держала, чтобы вытесняла она страх, а то, что сверх, — будет подвиг.

Профессор, по старому обычаю, вводит в беседу

анекдот

— Как же поможет, товарищ доктор, в бою привычка? — спросил боец.

— А вот как. Служил я военным врачом на крейсере. И вот что у нас рассказывали: это еще про старое время, когда корабли ходили на парусах... Засвистит боцман в дудку — „все наверх“, и, какая бы ни была буря, лезут матросы на мачты. Корабль качает, реи за волны

цепляют, может быть, а они там наверху, по тому что приказ.

Так вот что рассказывают. Потонул раз военный корабль под Севастополем... Вот потонул фрегат, а боцман был на том фрегате праведник и прямо из воды попал в рай, а матросы были воры и пьяницы, и прямо их души из воды в ад попали...

Сидит боцман в раю день — хорошо, два — хорошо. На третий день скучно без команды. Докладывает он об этом херувиму, тот доложил серафиму, так пошло по команде к богу, что, мол, боцман просит команду к себе. И вниз идет резолюция — никак нельзя, потому что команда уже получила свое назначение, — кто на вертеле сидит, кто в смоляном озере, и вообще всякий получает свое по заслугам. Опять хлопотал боцман — полный отказ. Вылез он тогда из рая через забор. Для матроса это невысоко, попал к аду. Подает донесение главному чорту — выпустите, мол, команду.

Полный отказ.

Тогда рассердился боцман, вынул дудку и просвистел сигнал — „все наверх“. И тут команда, кто из смолы, кто с вертела, кто из огненного озера — разом все наверх, и все одеты по форме. Собрал их боцман, и пошли они, куда надо. Дело простое — условный рефлекс.

Понятно?

— Забавно, но понятно, — сказал раненый.

— Так вот, слушайте дальше. Иван Петрович никогда не опаздывал...

Вот бьют часы, выходит Иван Петрович, садится, закидывает голову с сухими седыми волосами, кладет на стол крепкие старческие кулаки, и я сквозь круглые манжеты вижу его сухие и сильные еще руки.

Кончился бой часов.

„Господа, — сказал Павлов. — Сын мой умер, он умер от рака. Мой дед в Рязани тоже умер от рака. Есть основание думать, что предрасположение к этому заболеванию передается по наследству через одного, от деда к внуку“.

Говорит Иван Петрович, и голос у него с отзвуком, не так, как обыкновенно он говорит. Трудно ему. И вдруг он сердится и так продолжает, глядя прямо на немца, седого блондина, который смотрит на Ивана Петровича с любезным сожалением.

„Милостивые государи мои, — сказал Павлов, — у наших соседей немцев существует сейчас теория о том, что можно бороться с болезнями, лишая права иметь детей тех, кто больны. Так вот, милостивые государи мои, в старину предполагали, что средства дорогие и средства отвратительные особенно помогают от болезни. Предполагают бороться таким способом с сифилисом, с эпилепсией, так думают прервать даже жизнь рас, которые авторам системы не нравятся. Но теория эта не учитывает сложности жизни. Человек — это не породистая собака, у которой все рефлексы подчинены одному. Стоимость человека, дорогие коллеги, трудно подсчитать. Я, не будучи сам больным, передал предрасположение к

ужасной болезни от деда к сыну, и вот, по теории соседей наших, по немецкой теории, я не должен был родиться“.

Тут Иван Петрович встал, улыбнулся тихонько и продолжал:

„Дорогие коллеги, я никогда не повторял ничьих слов, и меня слушали. Будем считать доказанным, что я имел право родиться. И народ мой такой, что без него миру не прожить“.

Сел Иван Петрович.

„Оставим звериные способы изменять жизнь. Ведь мы видим, что эта теория ложная, что она неправильно отсеивает, неправильно отбирает. Поэтому должна быть иная наука. Ее создавали Сеченов, Мечников. Мы кое-что сделали и здесь и на Песочной улице в Ленинграде. Смелость имею сказать, что русская наука, в которой свободное участие принимают и другие народы, создаст теорию истинную. Надо работать для того, чтобы окончательно объединить человечество на рациональных основаниях и сделать его счастливым“.

Иван Петрович помолчал и сказал тихонько:

„Счастье! Если не мое, так других счастье. Мой сын умер, но завтрашнее заседание состоится, как обыкновенно“.

А мы сидели, товарищи, и слушали так, как слушают командующего фронтом, и мы чувствовали, товарищи, что мы едем в вагонах, прицепленных к этому сильному, вперед смотрящему человеку — паровозу.

Слышно было, как недалеко бомбят дорогу.

Профессор встал, небрежно ступая по осенней траве легкими ногами, подошел к своей лошади и одним движением оказался в седле.

Лошадь посмотрела на людей, косясь и подняв голову, как будто она считала себя сейчас очень важной.

— Профессор, дорогу бомбят, — сказала молодая докторша.

— Я поеду сторонкой... Так не забывайте, друзья мои, отчетливость, создание навыков и кругозор. Надо все видеть, раскинуть крылья, и наука поддержит вас, как воздух поддерживает крыло.

Он тронул коня и быстро уехал.

Сидел в седле он прямо, молодо, чуть щеголяя умением, редким для врача.

Осень 1942 г.

НОГИ

О том, что время не шло, потому что у него не было ног

Утром не хотелось просыпаться. Он оттягивал пробуждение, не открывал глаз. Кругом уже шумели, в постели приносили чай. Надо просыпаться. День начинался, надо опять испытывать тяжелое, неподвижное время.

Одеяло на постели лежало не так, как прежде. Там, на другом конце кровати, оно лежало плоско.

Во сне ноги были, они ощущались, они даже ныли. Сперва после ранения было не так тяжело.

Ранен он был разрывной пулей в обе ноги.

Товарищи сбили немецкого снайпера с дерева, вытащили раненого товарища на плащ-палатке.

Ноги ампутировали здесь, в городе.

Ампутировал доктор—веселый, рыжий, самоуверенный.

О нем все говорили с уважением, все его хвалили.

Ампутация для такого хирурга — простая, скучная ежедневная работа.

Он спасал людей, раненных в живот, вставлял куски кости и сшивал нервы.

Когда рыжий хирург входил в палату, все ему улыбались.

Василий Иванович подходил к больным, смотрел температурные листки.

Все было нормально. Больные поправлялись после операции, раны заживали без нагноения.

Дни тянулись медленно, и утром незачем было открывать глаза Михаилу Сулину.

Ему двадцать лет. Уж не так было много дней в жизни, только что он собрался жить и выбирал, какое взять в руки счастье.

Когда его принесли, раненого, из лесу, его целовали товарищи, кололи щетиной, поили горячим чаем.

Как надежно было в своем блиндаже!

Приятно знакомый вкус полковой каши давал надежду.

Но не сохранили ему, Михаилу Сулину, ног, и теперь он не хотел жить.

О протезах

У постели стояли ноги кожаные, с дырками, с никелированными шарнирами.

Соседи надевали протезы, учились ходить, рассказывали друг другу о том, как они ходят. Они говорили, что для того, чтобы привыкнуть к протезам, нужна воля, а ходить можно. Они говорили о новых специальностях. Они уходили, и у них уже была у каждого своя походка.

Война давала новых соседей. Сулиным не сразу овладела апатия. После ампутации он спал. Утром проснулся веселым, хотел сесть на постели и упал на лицо. Вот это сразило его сердце. Теперь он не хотел жить, не хотел

мыться, и нянька вытирала его лицо мокрым теплым полотенцем.

Дни не шли. Хотелось растянуть сон. Во сне он видел дорогу. По левую и по правую сторону пшеница, а он, Сулин, идет и в поле зрения видит то, что он не видел раньше: две милые знакомые ноги.

Человек-то, оказывается, видит свои ноги, когда идет.

Время не шло, потому что у него не было ног.

В госпитале продолжалась жизнь. Раненые рассказывали о новых боях, о том, что у нас прибавилось автоматов.

Замазали окна в палате. Сулину дали кресло на колесах, его подкатили к окну.

Было бело и тихо: на улице лежал снег. К госпиталю подъехал хирург, слез с пролетки, быстро пошел и исчез в подъезде. Счастливый!

Сулин попросил, чтобы его подкатили к постели, он вполз на постель, покрылся одеялом, как шинелью, с головой.

Хорошо было бы попасть обратно в сон. Ночь после боя — ты цел, тебя греет подоткнутая со всех сторон солдатская, уютно пахнущая шинель, отогреваются ноги.

Кто-то откинул одеяло. Над Сулиным стоял хирург.

— Вот что, товарищ Сулин, — сказал хирург. — Так нельзя. Ноги у вас стоят, а вы не хотите учиться ходить. Надо, товарищ Сулин, жить, и надо, милый мой, жизнь любить. Голова у вас есть, руки — и вы молодой. Нам надо родину отстаивать. Вам учиться надо, вы можете быть токарем, инженером, как сумеете.

Василий Иванович сел около кровати.

— Василий Иванович, — ответил Сулин, — дайте мне спать. Не говорите мне скучных, обыкновенных слов. Мне их все уже говорили. Слова те затверженные. Я вам скажу — протезные те слова, шарнирные. Был я молодой, Василий Иванович, хоть и не танцевал, а мог бы, гулять любил. Если, Василий Иванович, жить нельзя, то умереть-то я имею право. За чем я согласился на ампутацию! Мог бы умереть тогда я, и похоронили бы меня, как человека, в длинном гробу. Я не хочу таким жить. Или хоть дайте морфий.

Сулин вскочил, опираясь руками.

Доктор слушал его, улыбаясь грустно.

— Наркоза не дам, — сказал он.

— Вот вам хорошо, — сказал Сулин, — ходите, ногастый. Работаете, все вас хвалят.

— Товарищ Сулин, — спросил доктор, — а как вы думаете — стоит мне жить?

— Вам стоит. А мне, если смеете, дайте увольнительную от этой жизни.

— Мне жить стоит, — повторил Василий Иванович и поднял свои штаны выше колена.

Сулин увидел: блестят шарниры, черная кожа с дырочками.

— Трамвай, — сказал доктор, — обыкновенный трамвай. Ногу ампутировали выше колена. Я уже был молодым хирургом и очень боялся, что не смогу работать. Работаю. Так вот что, Сулин, — продолжал доктор, поправляя свои полосатые штаны и опуская их на штиблеты, — вот что, Сулин, будете вы ходить на протезах и отнесетесь к горю, как воин.

ЮРИЙ ТЫНЯНОВ

Ленинград. Начало июня 1922 года.

Белая ночь.

Широкая, дымно-розовая, чуть скошенная заря венком лежит над городом.

Желтизна и краснота зданий, шершавая красноватая серота гранита, серая прохладная голубизна воды разъединены и соединены неярким воздухом.

Теней нет.

Рассеянным светом ночной зари залит город, все предметы круглы и отдельные. В небе без блеска золотится адмиралтейская игла.

Плывет кораблик с крутыми золочеными парусами.

На Сенатской площади, на Площади декабристов, без топота стоит тяжелый конь.

Петр молчаливо протянул руку.

Нева слитно отражает небо с зарей и здания.

История, как бы одновременная история, вся открытая искусством, в воздухе белой ночи лежит раскрытой.

Над Дворцовой площадью круглится без тени Александровская колонна, высоко поднятая на своем пьедестале. Темный ангел над ней благословляет город или клянется.

Зимний дворец согнут. Изгиб фасада поко-

рется изгибу реки. Площадь вся в тихой ряби булыжников.

В арке Главного штаба согнута улица, над аркой скачут без топота кони. Эхо шагов негромко. Я иду с Юрием Николаевичем Тыняновым, с Борисом Михайловичем Эйхенбаумом. Мы говорим о декабристах.

Революция не бунт, революция—создание новой государственности.

Революция — создание государственности, достойной народов России.

Пушкин ездил по России, как великий открыватель по океану. Он сам набрасывал карты путешествия.

Его путешествия — Бессарабия, Крым, Кавказ, Оренбургская степь, поля Великороссии.

Он мечтал написать книгу об овладении Камчаткой.

Александр Пушкин создан Россией для осознания себя. В лицее Царскосельском дьячковы дети, русские разночинцы — лицейские профессора воспитывали детей из разоренных дворянских семей, желая воспитать граждан государства будущего. К народам России обращается Пушкин в предсмертном своем слове.

„Памятник“ поставлен там, где дружба привела пути многих народов к далеко идущей дороге великого русского народа.

На Ваганьковском кладбище под черным раздвоенным, наклонившимся деревом песок лежал на снегу.

Хоронили Тынянова.

Он был болен рассеянным склерозом, болезнь покрывала известью его нервы, рвала их так, как изморозь рвет телеграфные провода. Бо-

лезнь иногда отступала, потом возвращалась и захватывала его еще глубже и страшнее.

Тынянов умер.

Пали в реки ручьи. Он донес свою ношу.

В Ленинграде, в темной квартире, недалеко от Казанского собора, лежат рукописи Тынянова, стоят на полках романы, лежит архив Кюхельбекера.

Над Ленинградом встает кирпичная пыль. Немцы бьют дальнебойными снарядами по вечному городу.

На полках тыняновской библиотеки стоят более полусотни маленьких томиков русских поэтов. Библиотеку поэтов задумал Горький, выполнил Тынянов.

Романист, ученый, редактор — он донес тройную ношу.

Он лежал в больнице в Сокольниках. Болезнь долго шла за ним, потом рядом с ним.

Потом впереди него.

Он был заслонен ею.

Большая, почти пустая комната, кровать, заслоненная сеткой гамака, чтобы больной в муках не упал на пол.

Он лежал, обросший бородой. Не изменился лоб — выпуклый и красивый. Он не сразу узнал меня.

Мы заговорили. Я говорил ему о войне, о двенадцатом годе, о „Горе от ума“.

Монолог Чацкого сказан на пожарище войны.

Чацкий видел огонь великого пожара. Пожар Москвы сравнивал Байрон с пожаром революции. Чацкий непонятен без Отечественной войны. Русский великий девятнадцатый год в литературе выращен подвигами двенадцатого года.

Тынянов выплывал из тумана полузабытья. Он возвращался, он заговорил о Платове, Дорохове, Пушкине, Кутузове.

Золотом ритма сохраненные цитаты потекли в старой манере старинного тыняновского чтения.

Друг возвращался. Так Одиссей у порога гадеса возвращал души мертвых к сознанию, дав отведать духам священной жертвенной крови.

Тынянов говорил о войне, о родине, о Грузии и полях Псковщины.

Он умер в Москве и похоронен на Ваганьковском кладбище под черным деревом. Дерево раздвоено, один ствол наклонен, как рея.

На снежной палубе лежит Тынянов.

На кладбище на похоронах было не много народу.

На Сожи — быстрой реке с песчаными берегами, там, где теснили русские немцев, под лай шестиствольного немецкого миномета спрашивали меня про Тынянова солдаты и офицеры.

Друг! Еще у немцев могила Пушкина. У немцев псковские озера.

У немцев та ветряная мельница с черным крылом, которая стоит за тем озером и видна от Михайловского, из пушкинского гнезда.

После победы вырастет наша литература и наука. Новая культура мира начнется нашим сорок первым годом.

Подвиг не проходит даром.

Друг! Твой читатель воюет.

Читатель скоро придет посетить твою могилу.

Он тебе все доскажет, донеся свою нпшу.

Весна 1944 г.

Тула

Тула находится прямо на юг от Москвы. Через нее идет дорога на Русь. В старое время называлась эта дорога Муравский шлях.

Он проложен так, что проходит по водоразделу рек. Есть в области поле Половецкое и поле Куликовское.

Леса и реки были старыми укреплениями. В лесах делали засеки: подрубали дерево на высоте человеческого роста, рубили так, чтобы падал ствол, не срываясь с высокого пня. Валили деревья на север, на юг, на запад, на восток.

Укрепляли засеку кольями и надолбами, была она непроходимой для конницы.

В 1380 году, правее Муравского шляха, хотел прорваться к Москве Мамай. Шел он через Куликово поле и был у речки Непрядвы встречен московским князем Димитрием.

В то время Туле было уже больше двухсот лет.

В 1518 году татары набежали на Тулу, и московская помощь запоздала. И говорит летописец: „Тульские люди зайдоша по лесам пешия, да им дороги засекоша и многих татар побиша; а тут люди от воевод приспешили конные и начаша татар топтать, а пешие люди по лесам врага стали бити и по рекам истопоша, а иных живых поймаша“.

В 1520 году поставили в Туле каменный кремль, который стоит и до сегодняшнего дня.

После Смутного времени чинили туляне под предводительством князя Дмитрия Михайловича Пожарского засечную черту.

БОЛЬШОЙ СВЕТ

Голубое шоссе идет от Тулы на Киев.

Тогда еще, когда оно было желто-серым, Лев Толстой называл его «большой свет».

Сюда он выходил посидеть на обочине, поговорить с прохожими.

В большом свете сейчас скрипят колеса ручных тележек. Немцы вывезли лошадей и коров. Пчел и тех выморили.

На большом свете стоит черная, обгорелая, взорванная немцами яснополянская школа.

Как всегда, в яснополянский парк пришла осень. Парк пестро-рыж и пламенен.

Старый белый толстовский дом с многими пристройками, с деревянными балконами, в досках которого вырезаны веселые лошадки, починен.

Целы клены на звездчатых дорожках, по которым гулял когда-то князь Болконский с княжной Мари.

Он гулял, а оркестр играл негромко.

Жил тогда старик не в этом доме. Каменный дом и другой дом, тоже каменный, в котором сейчас бытовой музей,—только флигеля старого большого деревянного княжеского дома. Тогда считали, что деревянные хоромы здоровей.

В том доме родился Лев Толстой.

Дом он продал потом на снос, потому что хотел издавать журнал для солдат во время Севастопольской обороны. Журнал не разрешили, но „Севастопольские рассказы“ написаны, а на месте дома выросли липы, и давно они переросли тот высокий дом с парадными залами.

Чернеет посаженный Софьей Андреевной яблочный сад. Немцы подожгли усадьбу Ясной Поляны и сказали, что она заминирована. Но служащие и крестьяне успели погасить огонь. Обгорело кресло. Большое кресло с решетчатыми подлокотниками. В этом кресле спала в первый раз Софья Андреевна, когда гостила, еще девочкой, в Ясной Поляне. Чинила дом Ясной Поляны Литовская дивизия—она здесь стояла. Починено тщательно. Прогоревшие полы перестланы досками, взятыми из служб, построенных еще стариком Волконским, и доски те же, так же широки и так же потерты ногами. Подсажен измятый танками сад. Посажены снова ели на толстовской могиле.

Немцы еще здесь слышны пушками, но их нет.

Рассказывают про немцев, как про давнюю историю; прятались они зимой в комнаты, все время топили мебелью, боялись выйти на двор, и мылись все вместе в одном тазу: за водой сходить было опасно.

Сидели они за толстовским столом, налив дизельное топливо в старые керосиновые толстовские лампы с матовыми стеклянными шарами.

Немцы разрисовали стены толстовских комнат непристойными подрумяненными силуэтами.

Им сказали:

— Здесь, граждане немцы, — музей мирового значения.

— Мы смотрели родословное дерево графа Толстого, — ответили немцы, — его кровь — расовый хаос. Поэтому все здесь не подлежит безусловному сохранению и будет пересмотрено. А мы воюем, нам скучно, и вот мы развлекаемся, а любовь всегда любовь. Если вам что-нибудь непонятно в рисунках, так мы можем дать объяснение.

Они увозили толстовские фотографии. Все время фотографировались сами; они ходили по осеннему парку, пятная солнце, лежащее на земле.

Младшая Софья Андреевна Толстая-Есенина — директор толстовского музея с годами стала похожа на деда той поры, когда он работал в Некрасовском „Современнике“.

В хозяйстве — порядок, земля поднята, правительство дало скот. Веревок только нет, чем коров привязывают. Старики делают веревки из лыка.

Вечером едим кашу. Она пахнет дымом.

Немцы зажгли элеватор, полный пшена, но зерно горит туго.

Ночевал в комнате Сергея Львовича. Он сам был в городе.

Печь истопили, а окна открыли.

Так любил Лев Николаевич.

Мне снилась осень в имении старика Ростова. Люди собирались на охоту. Охотничьими рогами трубили автомобили на шоссе.

Утром подошел к окну. Осень лежала на земле. Упали листья.

Парк чернел, а земля пламенела.

В саду шуршало. Седобородый старик-сторож мел двор. Перед сараем другой, чисто выбритый, натирал суконкой черные дрожки.

Мел бородатый, мел не тофопясь, разговаривал.

Баррикаду построили у водочного завода, хорошую, со срубам. Ямы нарыли противотанковые, а трамвай еще ходит. Люди не то что с заду, а и из окон висят. Молодые уехали с заводом или на фронт, старики взяли оружие, решили немца дальше велосипедного поля и кладбища не пускать. Я тогда в Тулу с молоком приехал. Туда приехал, а обратно выпуску нет, и немец на Косой горе. А старики говорят — не пустим немца на свою родину. Не отдадим Тулы, не дадим перерешать свою судьбу.

— Под немцем трудно. Немец жадный. Какая курица ничтожное мясо, а он на нее дрожит. И жарит ее не по-нашему, кости вынимает. А так немец человек понятный. Барахло он любит, и чтобы было тепло и чтобы не бояться, и все увезти хочет, все домой... Вот коляску нашу к танку привязывал. Хотел увезти графскую славу. А финны немецкие еще хуже. Очень вешать любят и совсем не смеются. Немцы тоже хороши. Убьют, сапоги стаскивают, покойнику ногою в пах упираются.

— Так. Пришел немец к Туле. Старики стоят в черных фуфайках рабочих. Немцы с башен кричат — русь, сдавайся, партизан, сдавайся! А у стариков наших ружья новые против-

танковые. Серьезной работы ружье. Положишь, оно и лежит. Ты только не дрожи, оно не задрожит. Так вот мы немцев подбили, зенитчики помогли. А поселок немцы захватили и весь изъездили, и захватили они высшую там училищу, в субботу взяли, и танк наш захватили подбитый. Начали танкистского лейтенанта допрашивать, что да как, да где пушки, да как Тулу берут и кто в ней слабей. Наш танкист молчит, туляк, может быть, а туляк—железный человек.

— Может, так русский?

— И очень может быть. Немцы его не били долго, а позвали попа... Дело было под воскресенье. Вычитал поп уже правила и литургосить собрался; к обеду приготовился. А попадья пирог поставила. Осень, капуста своя, а муку из Тулы старушки принесли по поводу складов. Пирог, значит, поспевал.

— А масло откуда?

— Корова была.

— Хороший пирог.

Бородатый остановился мести и продолжал говорить уже громче:

— Говорят попу немцы: „Докажите нам, что вы полезный подданный, и скажите вашему человеку, чтобы он не противился нашей чрезвычайной силе. Мы Россию не прекращаем, а приводим к усмирению и порядку, и ему будет ничего себе, пускай он даже форму носит, и паек дадим, пускай за нас воюет. А вы, служитель культа, покажите еще и свою полезность. Скажите, что в Туле есть, и уговорите этого офицера дать искренние показания“.

— Допрашивают? Это еще ничего. Не бьют, будто и не немцы.

— „Подожди, — говорит батюшка, — я человек старый. Прихожане у меня преклонные старухи, носят ко мне провизию помалу и рассказывают больше друг про друга. Я войну, граждане, по молебнам только, а больше по панихидам знаю. Пустите меня домой, у меня пирог“. — „Пирог, — говорят немцы, — хорошо, мы мирную жизнь продолжаем, сами придем есть пирог с мирным лойяльным населением, только помогите допросу“.

„Чадо мое!“ — сказал батюшка танкисту. „Эх, поп!“ — сказал наш танкист. „Сын мой!“ — сказал батюшка. — Сказано в псалме шестьдесят третьем: „Сохрани жизнь мою от страха врага“. Но сказано еще в апостольском послании: „От страха смерти не подвергнись рабству...“

„Ну, что же, поп?“ — говорят немцы. „Пустите меня домой, — ответил батюшка, — я не воюю, я старик...“

— А ты откуда все это знаешь? — спросил старик, отложив суконку и готовясь закатить коляску в сарай.

— Старухи-сероплаточки наизусть затвердили: они там у немцев временно занятые полы мыли...

Мучились немцы с попом, начали они уже его притискивать и бороду подпалили. Он и говорит: „Может быть, я неправильно жил, граждане немцы, а умирать я хочу хорошо. Ничего я не скажу, граждане немцы, не буду я уговаривать товарища старшего лейтенанта. Прожил я сбоку, но умру за отчизну и корень свой, и отомстят за меня и пролитую кровь

так, как сказал Сампсон: „Да погибнет душа моя вместе с филистимлянами“.

Танкист говорит: „Умрем за родину вместе, батюшка, умрем просторной смертью. Родина, отец, смерть твою принимает!“

Замучили наших немцы. Старушки богомольные сняли с голов серые платки, обернули тела те. А немцы раздавили могилу танками.

— Надо могилу отыскать, — сказал другой. — Вот так и бывает. Лев Николаевич очень любил лес свой и у поля велел поставить лавочку, да не к полю, а к лесу своему лицом. Любил он и свой прадедовский сад и был приросшим к месту, хоть и огорченным человеком. Но когда приступило к сердцу, то хоть было ему свыше восьмого десятка, бросил он дом и славу всякую и достаток, вылез из окна. Я вот на этих дрожжах его до станции вез. Хотел жизнь начинать с начала. Светил я ему фонарем, думал — русскому человеку никогда не поздно.

Осень 1943 г.

У Десны и Сожа

Быстрая река Сож течет в чистых песчаных берегах.

Только что проехал Орловщину, часть Украины. Перед глазами долго пробежали сожженные села и города, разбитые взрывами. И наши советские, ровно посаженные леса, израненные окопами. Мы на том берегу Сожа. Россия пишет новую историю. Германия хотела войну на уничтожение, она хотела короткой войны, короткого бега, и дыхание ее сейчас ею истрачено.

Осенний лес полон нашими войсками, на песчаной дюне стоят наши пушки и бьют по врагу прямой наводкой.

Враг изучен и прочтен. Но он продолжает войну и пожары. Пожар и сейчас виден за лесом.

РАЗГОВОР С ТОВ. ПЕТРОВЫМ, РАЗВЕДЧИКОМ

Сож не широк. Метров двести. Берега песчаны. На окраине того берега узкие окопы и колючая проволока. В том окопе стоят сейчас наши кони: враг обстреливает. Позавчера в окопе были немцы.

На берегу пески, хаты с сожженными заборами: раздетое немцами село. За селом пески, перелески, за перелесками дюна, и там кончается, на сегодняшний день, наша позиция.

Дюна вся изрыта, в ней наблюдательные пункты и траншеи, чуть виден Гомель, впереди болото, за болотом — шоссе.

Немец держится жестко. Немец бьет минометом по переправам, бьет по ходам сообщения. Везде лежат тяжелые стаканы, края которых разорваны и искурчавлены.

В деревне свежие доски памятника: убит товарищ Борисов — заместитель командира дивизии.

Мы стреляли весь день, и из перелесков фонтанчиками били наши минометы, из-за реки били гаубицы, из дюны били пушки прямой наводкой по немецкой позиции — туда, во фруктовый сад за болотом. У орудий собирались люди, смотрели, как смотрят на ледоход или похоронную процессию.

Вечер. По реке плывут тяжелые паромы со снарядами в ящиках. Река уже сиреневая. Вечер. Из-за реки бьют „Катюши“.

Подого пролетают над головою белые птицы реактивных снарядов. Они летят, напоминая детство, мечту о междупланетном полете. Летят, краснеют на полпути, падают там, у немцев, превращая все в черную пыль, в ужас страшного суда.

Поздний вечер. Немцы несколько раз подымали ответную канонаду. У окна, заткнутого соломой, сидит беловолосый ленинградец—генерал Андреев, говорит по телефону:

— Нет, они на тебя не наступают, они тебя боятся, наступать они не могут. Ты наступай. Уговор такой, что они уже разбиты.

Положил трубку, сказал:

— Вы тут с Петровым, разведчиком, поговорите, — из старых пограничников, кадровый солдат. Замечательный разведчик, пятьдесят шесть живых принес мне фрицев.

С Петровым я встретился на песчаной площадке, вытоптанной среди молодых сосен.

Рядом сушилась верша: артиллеристы ловили рыбу. Совсем темнело, под красной звездой пилотки Петрова почти нельзя было различить зеленого лоскута. Цвета сливались.

Зеленый лоскут пограничники носили на память о родных частях.

Костры догорали: ночью костров жечь нельзя.

Петров нагнулся к углям, лицо у него темное, глаза большие, светлоголубые, волосы светлорусые и выбеленные еще солнцем.

— Людей в разведку выбирать надо умеючи, человек не сразу храбрым становится, не сразу

себя узнает. Вот иду я сегодня ходом сообщения, немец стреляет. Пополнение пришло, лежит в траншее, итти мешает. Им бы отдельно покопать надо было. Лежат, серым песком посыпаны, как пеплом. Винтовки портянками обернули, от песка берегут замки, да не так беречь надо. Я возле одного воина останавливаюсь, вижу — читает что-то. Спрашиваю: „Что читаешь?“ Он отвечает: „Еще не знаю, товарищ сержант“. Вижу — по-русски плохо говорит, узбек, вероятно. Книжку у него из рук беру, а это он песню „Широка страна моя родная“ наизусть учит. Значит, правильный он воин, песню под огнем для себя разбирает. Привыкнет.

И когда первый раз я в разведку пошел, было мне очень страшно. Земля, как кость, крепкая, мерзлая, неприятная. Снегу мало. Дополз с товарищем до траншеи, пошел, за поворотом стоит немец. Немец стоит, мерзнет, не видит еще. Стоит и не о том думает. Я его ножом ударил, он упал. Я дальше пошел. Уже боязни меньше. Привыкать стал. Я привык ходить вдвоем. С Гандиным хожу — верный человек...

Немцы вот стоят осторожно, иначе бы мы их по одному всех перетаскали.

Я дальневосточник, ветеринар, а занимался в колхозе больше пчелами. Много ли растений человек на пользу себе обратил — ну, шестьдесят, семьдесят. А в наших местах сколько деревьев, сколько леса! Липа, клен, орех разный, черешня, черемуха, яблоня, груша, дуб, вяз, береза, бересклет, крушина, таволга, малина, шиповник, бузина, калина, жимолость, ле-

щина. Сколько гарей, а на гарях цветы! Через пчелу у меня к каждому цветку нитка. Конечно, и охота хороша, но за кабаном далеко не пойдешь. Интересно смотреть, как кабан лежит, а поросята кругом землю роют. Только мясо потом тянуть тяжело. На мех охота интереснее: дальше итти можно. Но всего лучше пчелы. У нас в колхозе ульи хороши, и берем мы по сто двадцать килограммов сулья. Пасеки у нас большие, а все мед не надоедает, его не то что есть, нюхать не надоест. Пахнет он лесом, полем, цветами. Лето, осень—все можно вспомнить. Живой запах.

Ну, может, еще встретимся, договорим. Слышите — стреляют как. Думается мне, что немцы перед нами дивизию переменяли. Генерал просил языка оттуда достать.

...Утром из-под пригорка, на котором стоял когда-то сарай, а теперь торчали одни кирпичом кровавые столбы, подымалась пехота. Люди, чуть согнутые, как будто на плечах их лежали невидимые мешки, маленькими группами подымались к краю холма, бросали гранаты. Оттуда, сверху холма, подымались маленькие негустые дымки взрывов. Шел гранатный бой.

В селе строгаи доски для памятника. Сказали, что Петров ночью получил ранение в живот. Товарищ вынес его.

Полевой хирургический пункт был красен от солнца. Солнце светило прямо сквозь осенний лес и полотняные стены.

Перевязывали раненого с раздробленной ногой. Врач мне сказал — Петрова велено похоронить рядом с Борисовым.

ВОСПОМИНАНИЕ О СТАРОМ И РАЗГОВОР С СЕМЕ- НОМ ПАРХОМЕНКО—ЖИТЕЛЕМ СЕЛЕНИЯ ОЛЬШАНЫ

Города Северной Украины разнообразны. Надо было бы их посмотреть раньше, надо было бы посмотреть Глухов с улицами, обсаженными каштанами, и город Короп, скрывающийся за песчаными дюнами и сосновыми рощами, и Новгород-Северский, стоящий на Десне, на высоком холме.

Монастырь венчает гору. Плотно заселен монастырь могилами и огражден сложно перепутанной колючей проволокой. Здесь был лагерь русских военнопленных.

Утро. На краю горы узкие и глубокие окопы, там внизу широкая долина, пересеченная речными старицами.

Налево солнце еще не отделилось от гор. Оно как знамя.

Взять город в эту кручу нельзя.

А взяли.

Взяли русские войска, дивизии Киселева, Сенчила, Андреева.

Перешли долину, перешли старицы, переплыли Десну на бревнах.

Стоит Новгород-Северский почти целый.

Надо было раньше посмотреть украинские города с домами, облицованными тонкими тисненными кирпичами, с триумфальными воротами и тихими садами.

Немцы могут сказать словами библии:
„Леса губили так, как истребляет меч“.

В лесах Черниговщины, там, где стремительно гнали немцев, сохранились целые украинские села.

Осень. Сильно порыжел лес, шуршат серопепельные дубовые листья. Они не упадут до весны, и дуб зазеленеет как будто теми же листьями.

Украина воскресает.

В Карпатах, в гуцульских селах, видел я иконы, на которых изображен был страшный суд.

Внизу степь. На заднем плане—горы с темными широкими карпатскими елями.

По степям ходят быки, не принимая участия в событиях.

Среди неба, в двух сдвинутых коротких четвертях круга сияния, сидит старый, похожий на пасечника, бог в хороших чоботах.

К такому богу у Гоголя в „Тарасе Бульбе“ подымались души мертвых украинцев, все еще полные весельем и негодованием боя.

Бог спрашивал — добре ли бились украинцы за родину.

Ниже бога — люди.

К ним пришли звери: львы, тигры и очень крупные гиены.

Помню слона с черной ногой в хоботе.

Это кто что сожрал, то и возвращает.

Нужно для воскрешения мертвых, чтобы

украинцы из гроба вставали целыми, такими, какими они были.

Народ этот испугать трудно.

Горький рассказывал про одного старика:

— Вот вострубит труба архангела, встанет старик, по художеству своему садовник, посмотрит на архангела и скажет:

— Тоже трубишь, а трубы не почистил.

Такой народ не испугаешь.

Видел я Украину от севера до Карпат. Дважды прошел Галицию солдатом, раненым лежал у реки Быстрицы, что рядом с Лдзянами.

Лекал щекой на сырой, богатой быстро бегущими водами галицийской земле.

Из-за Карпат подымались, как будто темными слями расчесанные, тяжелые серые тучи.

Видел я дальние кладбища Западной Украины.

Каменные мадонны в линиях синих плащах стояли на униатских кладбищах.

Черные польские, скорбные бревенчатые кресты тянулись к небу, простирали руки и не могли охватить чужую им украинскую землю.

Был на Украине через двадцать шесть лет.

Дул ветер с низкооблачных Карпат, шли по крутым дорогам пестро одетые украинцы.

Шли лемки, гуцулы.

На Червонной пламенной Руси стоит Львов.

Пламенеет и круглится Львов каменными барочными зданиями, похожими на огонь свечей, раздуваемый ветром.

Пламенеет Львов, похожий как будто только на себя.

И похожий на Киев, как младший брат на брата.

Здесь лежит прах первого друкера России -

дьяка Федорова, а памятник ему стоит у нас в Театральном проезде и рядом здание, где работал старый дьяк.

Во Львове кладбище пестро-золотое от лежащих на земле широких листьев кленов и дубов,

Над могилой Франко говорил Довженко — украинец.

С почти уже прозрачных деревьев падали листья, такие золотые, что ухо при падении ждало звука.

На улице Legionеров говорили мы перед памятником Мицкевича. Люди были на крышах, люди прорастали через все окна.

У полированной колонны с бронзовым гением, венчающим Мицкевича венком славы, говорил Корнейчук:

— Поляки создали гений Коперника, определившего строение вселенной. Складовская, открывшая радий, осветила людям, как создан атом.

О Польше, о польской славе, об Украине, о дружбе народов говорили мы осенью у памятника Мицкевича, придя с могилы Ивана Франко — украинца.

Ольшаны, что на Черниговщине — большое село.

Места лесные — районный центр там называется Сосновицы.

Хаты здесь беленые, но рубленые — это лесная Украина.

Рассказывал Семен Пархоменко.

Быстро здесь прошли войска Рокоссовского. Здесь много целых селений. Ольшаны освободили наши штыками. Боями и огнем перебиты сады.

Немцы боялись лесов, но и здесь они убивали. Расстреляли они здесь семью Пшенко. Самого Пшенко Сергея, тридцати лет, и жену его Горпину, тридцати лет, и дочь Надю, четырнадцати лет. Увезли, сказали, чтобы с вещами ехали, а потом слух пошел — расстреляли в Сосновицах. А младшие дети, Маруся и Галя, спрятались в печи. Немцы приехали через несколько дней, достали их — тоже расстреляли. Бросали они их с обрывов в Сосновицах, платье в Германию увезли, людей засыпали неглубоко.

Так мне рассказывал Семен Пархоменко из деревни Ольшаны — украинец, по старой службе унтер-офицер.

Изба внутри беленая, топленая, сохраненная.

Сыны ушли в Красную армию, старик дома разговаривает с нами.

— Два года немцев видел, не прошло у меня удивление. Другой человек поклонится, голову нагнет. Немец ежели поклонится — голову еще назад закинет. Поклон назад отбрасывает. Если узнает, где мед, не кинет того дома, пока весь мед не вылижет, арестует, пригрозит и убьет, а все достанет. Сколько человек съесть может яиц, ну, пяток, десяток, а немец и двадцать. Вот как наши подходили, двое немцев на мотоцикле припукали, в избу зайти боятся. „Зеркало, — говорят, — старик, принеси, яиц принеси“.

„Еще, — говорят потом, — принеси“.

Бреются на улице, бреются, а сами чешутся, бреются, потом пудрятся, а не помылись. Сковороду взяли большущую, у самой крыши соломенной костер сложили, бензин плеснули, а

мотоцика стоит в стороне, не заглушенная, и тарарыкает.

Потом в костер спичку бросили с форсом. Огонь поднялся, а они с форсом яичницу делают — не то в тридцать, не то в сорок яиц. Едят, думают, что мы удивляемся. Съели, не треснули, поехали. Убили их за околицей.

Ну, вот спать нам пора, сейчас керосин догорит. Долго я в лампе керосин берег для гостей.

Старик полез на печь.

Лампа еще горела.

Хата беленая, в углу не старые иконы, на столе библия, русская.

Я открыл. Книга вся размечена карандашом.

Библию я когда-то хорошо знал. Здесь отчеркнуты места о мести, о рабстве и о мече.

Многие знают, что в библии есть фраза — „перекуем мечи на орала“, а Пархоменко отыскал:

„Перекуем орала на мечи и серпы на копья“.
Это из пророка Иоиля.

— Читали, отец?

Пархоменко ответил с печи:

— Заперты были. Ни к нам в деревню, ни от нас из деревни. Немцы нас заперли. Ничего не говорят, а что скажут, так соврнут. Книги в школе сожгли, а библию вот оставили. Вот мы собирались, читали ее по-своему.

Спать ложитесь, хлопцы, ехать вам еще далеко.

А слова есть хорошие и в евангелии: „Продай одежду свою и купи меч“.

РАЗГОВОР В ЗЛЫНКЕ – ГОРОДКЕ В БЕЛОРУССИИ

В белорусских песках стоит Злынка.

Улицы города прямые. Дома все похожие: деревянные, с четырехскатными кровлями, с высокими дощатыми заборами.

Над тесовыми воротами маленькие литые староверческие распятия.

У домов лавочки, над лавочками деревянные кровельки, чтобы мог хозяин сидеть и не припекало его солнце.

Дома все на каменном фундаменте. Над окнами домов резьба. Деревьев в городе мало, но попадаются уютные дворики, со стенами, покрытыми диким виноградом, что ли.

Жили в Злынке староверы рогожинского согласия. Все больше каменщики. Работали они в Москве.

В домах, на стенах, большие иконы в резных золоченых рамах, как будто осень окрасила виноград не в красное, а в золотое.

Была еще в Злынке спичечная фабрика. Сожгли немцы. Сожгли еще много домов.

На кладбище большие ямы. Это немцы велели выкопать большие могилы, расстреливали евреев, коммунистов и людей, которые казались им непокорными. Расстреливали каж-

дый день, а ямы засыпали раз в две недели.

Город сидел молча, с закрытыми ставнями. Были люди, которые по году не выходили за ворота. Сидели в темных комнатах, только щели вокруг ставней краснели да золотели на стенках иконы, полные плотно раскрашенных, как будто из эмали сделанных, спокойно взволнованных фигур святых, поднимающих на золотом фоне тонкие руки.

Я ночевал у старухи на чистом некрашеном полу. Утром открыли ставни.

Рядом с иконами висели фотографии какого-то театрального представления.

— Кушай молоко, — сказала мне старуха, — корова наша в лесу спасалась и, хитрая, сопела, как змея, не мычала. А спаслась она потому, что в Москве метро построили.

Как построили, дорогой ты мой, в Москве третью очередь метро, очень немцы помирнели. По радио они узнали. После Сталинграда помирнели первый раз, а после метро еще помирнели. И водку стали пить. И было их у меня четверо. Попьют они водку и все сидят. А был у них один такой вредный, и когда он уйдет, они обратно водку пьют и кулаком стучат и говорят тревожно, а придет тот, четвертый, те немцы молчат. А все четверо вредные, не столько едят, сколько топчут, сами сено с сеновала таскают и все ногами растаскивают. Я к корове приду, та на меня смотрит, дышит на меня, а у меня сена нет. И говорю я ей: „Кушай картофельные очистки, потому что немцы“.

На иконы зарились немцы. Переводчик приходил, говорил: „Продай, матка“. Я ему говорю:

„Божью благодать не продают, а меняют — хоть на картуз меняют, а в картуз деньги положат, да только меняют со своими“. А мой муж ту икону на тройку лошадей сменял, старого письма вещь. А он говорит: „Сменяй, мы товар дадим. Во время войны, матка, — говорит, — умные люди вещи собирают“.

Сам больно умный. Купил сейчас крест березовый, и тот в печку пойдет. А иконы не отнял — велика.

Пей молочко. День постный, да ты мирской и дело дорожное. На карточки смотришь? Дочка моя на фабрике работала, пела хорошо дочка. В опере пела — „Ночь перед рождеством“. Я не ходила — грех. Там на сцене у них представление, чорт, говорят, был, только не наш чорт, а никонианец, Никоновой новой веры, а сам из комсомольцев. А дочка пела. И когда корову доила, пела.

Волос на голове вянет, как подумаю, что с нами немцы сделали.

Ушли взрослые, а кто остался, так они того стреляли, да по порядку — одного уже стрельнули, а другой дома сидит и томится. А молодежь к себе угнали, и угнали сني у меня дочку. Сперва письма приходили, а потом замолчала. Вот, когда вы ихние города возьмете, может, у кого весть и придет. Писала сперва дочка: „Дою я, мама, шестнадцать коров, и очень я, мама, устаю, и очень я о тебе вспоминаю и к тебе хочу, мама“. А потом писала: „Очень я об отце вспоминаю, мамочка, и хотела бы я на его службу“.

А муж мой шестнадцать лет глину караулит, в земле лежит.

Так ты пей, сынок, молоко. Сытее будешь, злее будешь. Маковей в древние времена в бою постом и праздником пренебрегали. Перед иконами тебе говорю — дела сейчас нет войны праведнее.

Осень 1943 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Посвящение—письмо на восток, в письме говорится о дорогах и пространствах	3
Встречи с Суворовым в книгах	5
Алма-Ата	19
Солнце и луна	21
О любви и работе	34
Смоленщина	42
На поляк Смоленщины	45
На Днепре	49
Павлов жил под Ленинградом	56
Разговор в лесу	57
Нога	67
Юрий Тынянов	71
Тула	75
Большой свет	77
У Десны и Сожа	84
Разговор с тов. Петровым, разведчиком .	85
Воспоминание о старом и разговор с Семеном Пархоменко — жителем селения Ольшаны	89
Разговор в Злынке—городке в Белоруссии	95